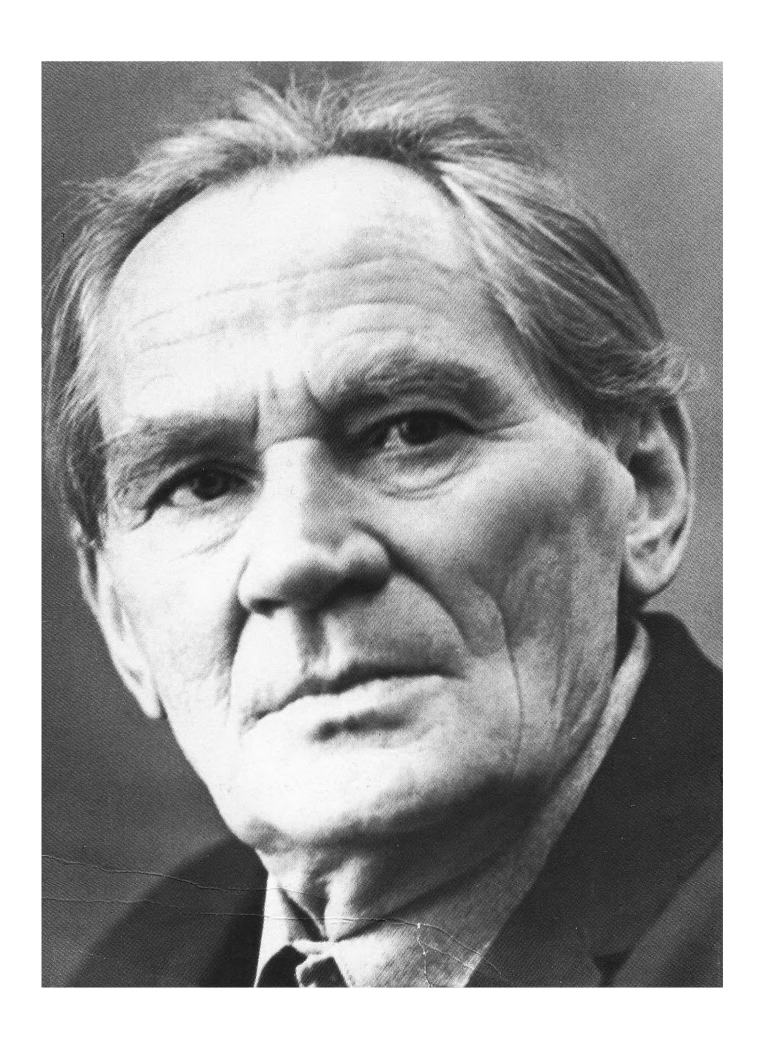

БОРИС ЧИЧИБАБИН
Колокол



БОРИС ЧИЧИБАБИН



Москва
«Советский писатель»
1991

Художник *ИРИНА ЛЫТКИНА*

Чичибабин Б. А.
Ч 72 Колокол: Стихи.— М.: Советский писатель, 1991.— 272 с.

ISBN 5—265—01312—1

Высокий одический дар Бориса Чичибабина выдвинул его во времена «оттепели» в первые ряды молодых, обещающих, подающих... Затем голос поэта заглушили на долгие десятилетия.

Его стихи отличают напряженный поиск истины — и на земле, и в небе, мучительная боль за родную страну, ее позор и славу, возвышенное осознание неотвратимости своего творческого — а значит, трагического — пути.

Ч $\frac{4702010202 — 398}{083(02) — 91}$ 250 — 90 **ББК 84 Р7**

Молитва

Не подари мне легкой доли,
в дороге друга, сна в ночи.
Сожги мозолями ладони,
к утратам сердце приучи.

Доколе длится время злое,
да буду хвор и неимущ.
Дай задохнуться в диком зное,
веселой замятью замучь.

И отдели меня от подлых,
и дай мне горечи в любви,
и в час, назначенный на подвиг,
прощенного благослови.

Не поскупись на холод ссылок
и мрак отринутых страстей,
но дай исполнить все, что в силах,
но душу по миру рассей.

Когда ж умаюсь и остыну,
сними заклятие с меня
и защити мою щетину
от неразумного огня.

* * *

Кончусь, останусь жив ли,—
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.
Школьные коридоры
тихие не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.
Лестницы, коридоры,
хитрые письмена...
Красные помидоры
кушайте без меня.

1946

Махорка

Меняю хлеб на горькую затяжку,
родимый дым приснился и запах.
И жить легко, и пропадать нетяжко
с курящейся цигаркою в зубах.

Я знал давно, задумчивый и зоркий,
что неспроста, простужен и сердит,
и в корешках, и в листиках махорки
мохнатый дьявол жмется и сидит.

А здесь, среди чахоточного быта,
где холод лют, а хижины мокры,
все искушенья жизни позабытой
для нас остались в пригоршне махры.

Горсть табаку, газетная полоска —
какое счастье проще и полней?
И вдруг во рту погаснет папироска,
и заскучает воля обо мне.

Один из тех, что «ну давай покурим»,
сболтнет, печаль надеждой осквернив,
что у ворот задумавшихся тюрем
нам остаются рады и верны.

А мне и так не жалко и не горько.
Я не хочу нечаянных порук.
Дымись дотла, душа моя махорка,
мой дорогой и ядовитый друг.

1946

Федор Достоевский

Два огня светили в темень, два мигалища.
То-то рвалися лошадки, то-то ржали.
Провожали братца Федора Михалыча,
за ограду провожали каторжане...

А на нем уже не каторжный наряд,
а ему уже — свобода в ноздри яблоней,
а его уже карьерою корят:
потерпи же, петербуржец новоявленный.

Подружиться с петрашевцем все не против бы,
вот и ходим, и пытаем, и звоним,—
да один он между всеми, как юродивый,
никому не хочет быть своим.

На поклон к нему приходят сановитые,
но, поникнув перед болью-костоедкой,
ох как бьется — в пене рот, глаза навыкате,—
все отведав, бьется Федор Достоевский.

Его щеки почернели от огня.
Он отступником слывет у разночинца.
Только что ему мальчишья болтовня?
А с Россией и в земле не разлучиться.

Не сойтись огню с волной, а сердцу с разумом,
и душа не разбежится в темноте ж,—
но проглянет из божницы Стенькой Разиным
притворившийся смирением мятеж.

Вдруг почудится из будущего зов.
Ночь — в глаза ему, в лицо ему — метелица,
и не слышно за бураном голосов,
на какие было б можно понадеяться.

Все осталось. Ничего не зажило.
Вечно видит он, глаза свои расширя,
снег, да нары, да железо... Тяжело
достается Достоевскому Россия.

* * *

До гроба страсти не избуду.
В края чужие не поеду.
Я не был сроду и не буду,
каким пристало быть поэту.
Не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах —
мой дух возращивался в тюрьмах
этапных, следственных и прочих.

И все-таки я был поэтом.

Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лузгал,
каналы рыл и правду брякал.
На брюхе ползал по-пластунски
солдатом части минометной.
И в мире не было простушки
в меня влюбиться мимолетно.

И все-таки я был поэтом.

Мне жизнь дарила жар и кашель,
а чаще сам я был не шелков,
когда давился пшенной кашей
или махал пустой кошелкой.

Поэты прославляли вольность,
а я с неволей не расстанусь,
а у меня вылазит волос
и пять зубов во рту осталось.

И все-таки я был поэтом,
и все-таки я есмь поэт.

Влюбленный в черные деревья
да в свет восторгов незаконных,
я не внушал к себе доверья
издателей и незнакомок.

Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
водяру дул, с вождями грызся,
тишком за девочками бегал.

И все-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом
и подыхаю как поэт.

1960

Народу еврейскому

Был бы я моложе — не такая б жалость:
не на брачном ложе наша кровь смешалась.

Завтракал ты славой, ужинал бедою,
слезной и кровавой запивал водою.

«Славу запретите, отнимите кровлю»,—
сказано при Тите пламенем и кровью.

Отлучилось семя от родного лона,
помутилось племя ветхого Сиона.

Оборвались корни, облетели кроны.
Муки гетто, коль не казни да погромы...

Не с того ли Ротшильд, молодой и лютый,
лихо заворочал золотой валютой?

Застелила вьюга пеленою хрусткой
комиссаров духа — цвет Коммуны Русской.

Ничего, что нету надо лбами нимбов,—
всех родней поэту те, кто здесь гоним был.

И не в худший день нам под стекло попала
Чаплина с Эйнштейном солнечная пара.

Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
не водись я с грустью, золотой и горькой,

не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
не войди я нáвек частью безымянной

в русские трясины, в пажити и в реки,
я б хотел быть сыном матери-еврейки.

Крымские прогулки

Колонизаторам — крышка!
Что языки чесать?

Перед землею крымской
совесть моя чиста.
Крупные виноградины.
Дует с вершин свежо.

Я никого не грабил.
Я ничего не жег.

Плевать я хотел на тебя, Ливадия,
и в памяти плебейской
не станет вырисовываться
с дворцами-арабесками
Алупка воронцовская.
Дубовое вино я
тянул и помнил долго.

А более иное
мне памятно и дорого.

Волны мой след кропили,
плечи царапал лес.
Улочками кривыми
в горы дышал и лез.

Думал о Крыме: чей ты,
кровью чужой разбавленный?
Чьи у тебя мечети,
прозвища и развалины?
Проверить хотелось версийки
приехавшему с Руси:
чей виноград и персики
в этих краях росли?

Люди на пляж, я с пляжа —
там, у садов и скал,

«где же татары», спрашивал,
все я татар искал.

Шел, где паслись отары,
желтую пыль топтал.
«Где ж вы,— кричал,— татары?»
Нет никаких татар.

А жили же вот тут они
с оскоминой о Мекке.
Цвели деревья тутовые,
и козочки мекали.
Не русская Ривьера,
а древняя орда
жила, в Аллаха верила,
лепила города.
Кому-то, знать, мешая
зарей во всю щеку,
была сестра меньшая
Казани и Баку.

Конюхи и кулинары,
радуясь синеве,
песнями пеленали
дочек и сыновей.
Их нищета назойливо
наши глаза мозолила.
Был и очаг, и зелень,
и для ночлега кров...

Слезы глаза разъели им,
выстыла в жилах кровь.
Это не при Иване,
это не при Петре:
сами, небось, припевали:
«Нет никого мудрей».

Стало их горе солоно.
Брали их целыми селами,
сколько в вагон поместится.
Шел эшелон по месяцу.
Девочки там зачахли.
Ни очага, ни сакли.

Родина оптом, так сказать,
отнята и подарена —
и на земле татарской
ни одного татарина.
Живы, поди, не все они:
мало ль у смерти жатв?
Где-то на сивом севере
косточки их лежат.

Кто помирай, кто вешайся,
кто с камнем на конвой,—
в музеях краеведческих
не вспомнят никого.
Сидит начальство важное.
«Дай,— думает,— повру-ка».
Вся жизнь брехнею связана,
как круговой порукой.
Теперь хоть и обмолвитесь,
хоть правду кто и вымолви,—
чему поверит молодость?
Все верные повымерли.

Чепухи не порите-ка.
Мы ведь все одноглавые.
У меня — не политика,
у меня — этнография.
На ладони прохукав,
спотыкаясь, где шел,
это в здешних прогулках
я такое нашел.

Мы все привыкли к страшному,
на сковородках жариться.
У нас не надо спрашивать
ни доброты, ни жалости.

Умершим не подняться,
не добудиться умерших...
Но чтоб целую нацию —
это ж надо додуматься.

А монументы Сталина,
что гнул под ними спину ты,
как стали раз поставлены,
так и стоят не скинуты.

А новые крадутся,
честь растеряв,
к власти и к радости
через тела.

А вражьи уши радуя,
чтоб было что писать,
врет без запинки радио,
тщательно врет печать.

Когда ж ты родишься,
в огне трепеща,
новый Радищев —
гнев и печаль?

1955

* * *

Клубится кладбищенский сумрак.
У смерти хороший улов.
Никто нам не скажет разумных,
простых и напутственных слов.

Зачем про веселье узнал я,
коль ужас мой ум холодит?
Поэты уходят в изгнанье,
а с нами одни холуи.

О как нам жилось и бродилось
под русским снежком по зиме...
Смешная девчонка Правдивость,
ты есть ли еще на земле?

Да разве расскажет писатель
про тайны лукавых кулис,
что кесари наши пузаты
и главный их козырь — корысть?

Висит календарь наш без мая,
у кисти безумны мазки,
и девочки глушат и смалят
и кроют беду по-мужски.

Ворожит ли стая воронья,
пороша ль метет на душе,—
художник бежит от здоровья,
от нежности и кутежей.

При жизни сто раз умиравший,
он слышит шаги за спиной:
то снова наводит мурашки
жестокости взор жестяной.

Теперь не в ходу озорные,—
кому отливать перепуг,
когда Пастернака зарыли
и скоро помрет Эренбург?

Бродяга и шут из Ламанчи,
кто нес на мече доброту,
все ребра о жизнь изломавший,
дал дуба и где-то протух...

Немея от нынешних бедствий
и в бегстве от будущих битв,
кому ж быть в ответе за век свой?

А надо ж кому-нибудь быть...

1961

Пастернаку

Твой лоб, как у статуи, бел,
и взорваны брови.
Я весь помещаюсь в тебе,
как Врубель в Рублеве.

И сетую, слёз не тая,
охаянным эхом,
и плачу, как мальчик, что я
к тебе не приехал.

И плачу, как мальчик, навзрыд
о зримой утрате,
что ты, у трех сосен зарыт,
не тронешь тетради.

Ни в тот и ни в этот приход
мудрец и ребенок
уже никогда не прочтет
моих обреченных...

А ты устремляешься вдаль
и смотришь на ивы,
как девушка и как вода
любим и наивен.

И меришь, и вяжешь навек
веселым обетом:
— Не может быть злой человек
хорошим поэтом...

Я стих твой пешком исходил,
ни капли не косвен,
храня фотоснимок один,
где ты с Маяковским,

где вдоволь у вас про запас
тревог и попоек.
Смотрю поминутно на вас,
люблю вас обоих.

О, скажет ли кто, отчего
случается часто:
чей дух от рожденья червон,
тех участь несчастна?

Ужели проныра и дуб
эпохе угоден,
а мы у друзей на виду
из жизни уходим.

Уходим о зимней поре,
не кончив похода...
Какая пора на дворе,
какая погода!..

Обстала, свистя и слепя,
стеклянная слякоть.
Как холодно нам без тебя
смеяться и плакать.

* * *

Живем — и черта ль нам в покое,
но иногда по временам
с устатку что-нибудь такое
приходит в голову и нам.

Что проку добрым быть и честным,
искать начала и концы,
когда и мы в свой срок исчезнем,
как исчезают подлецы?

Когда и нам закроют веки
и нас на кладбище свезут?
Но есть же совесть в человеке
и творчества веселый зуд.

Есть та особенная сила,
что нам с рожденья привита,
чтоб нашу плоть нужда месила,
чтоб дух ковала клевета.

И огнь прожег пяты босые,
когда и мне настал черед
поверить в то, что я — Россия,
земля, судьба и сам народ.

В меня палили вражьи пушки,
меня ссылали в Соловки,
в моей душе Толстой и Пушкин
как золотые колобки.

Я грелся в зимние заносы
у Революции костров,
и на меня писал доносы
Парис Жуаныч Котелков.

В беде, в безвестности, в опале,
в глухой дали от милых глаз
мои тревоги не пропали,
моя держава сбереглась.

И вот живу, пытаю душу,
готовлю душу к платежу
и прозаическую стужу
стихами жаркими стыжу.

Клянусь на знамени веселом

Однако радоваться рано —
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не знамя,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет,— а я-то знаю:
не умер Сталин.

Как будто дело все в убитых,
в безвестно канувших на Север —
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться,—
не умер Сталин.

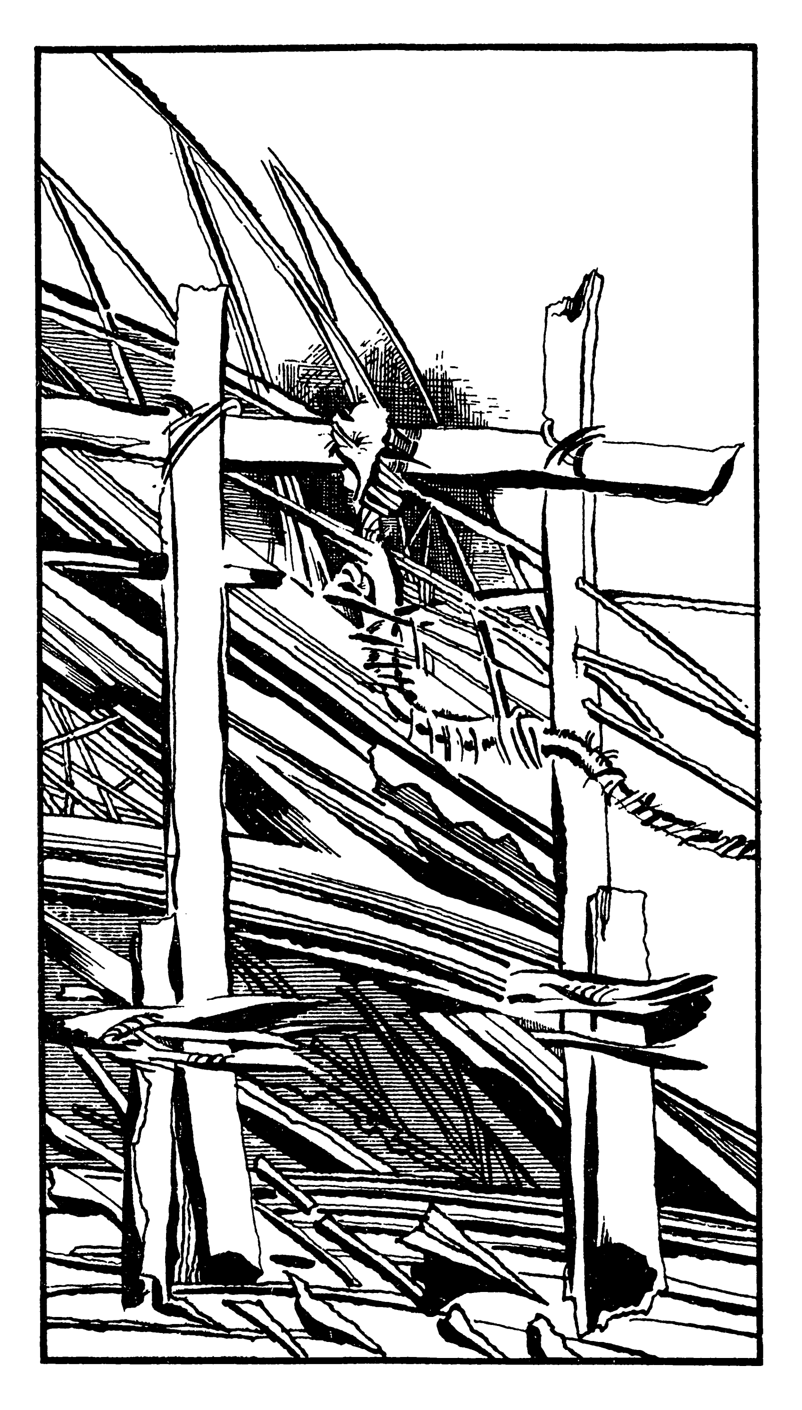
Пока во лжи неукротимы
сидят холеные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждет доносчик,—
не умер Сталин.

И не по старой ли привычке
невежды стали наготове —
навешать всяческие лычки
на свежее и молодое?
У славы путь неодинаков.
Пока на радость сытым стаям
подонки травят Пастернаков,—
не умер Сталин.

А в нас самих, труслив и хищен,
не дух ли сталинский таится,
когда мы истины не ищем,
а только нового боимся?
Я на неправду чертом ринусь,
не уступлю в бою со старым,
но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин?

Клянусь на знамени веселом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадье не исчезло,
что не сверну, и не покаюсь,
и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!

1959



* * *

Я слишком долго начинался —
и вот стою, как манекен,
в мороке мерного сеанса
не узнаваемый никем.

Не знаю, кто виновен в этом,
но с каждым годом все больней,
что я друзьям своим неведом,
враги не знают обо мне.

Звучаньем слов, значеньем знаков
землянин с люлечки пленен.
Рассвет рассудка одинаков
для всех народов и племен.

Но я с мальчишества наметил
прожить не в прибыльную прыть
и не слова бросать на ветер,
а дело людям говорить.

И кровь и крылья дал стихам я,
и сердцу стало холодней:
мои стихи, мое дыханье
не долетели до людей.

Уже листва уходит с веток
в последний, гибельный полет,
а мною сложенных и спетых
никто не слышит, не поет.

Подошвы стерты о каменья,
и сам согбен, как аксакал.
Меня младые поколенья
опередили, обскакав.

Не счесть пророков и провидцев,
что ни кликуша, то и тип,—
а мне б к заветному пробиться,
до сокровенного дойти б.

Меня трясет, меня коробит,
что я бурбон и нелюдим
и весь мой пот и весь мой опыт
пойдут не в пользу молодым.

Они проходят шагом беглым,
моих святынь не видно им.
И не дано дышать тем пеклом,
что было воздухом моим.

Как будто я свалился с Марса,
со мной ни друга, ни отца.
Я слишком долго начинался.
Мне страшно скорого конца.

Верблюд

Из всех скотов мне по сердцу верблюд.
Передохнёт — и снова в путь, навьючась.
В его горбах — угрюмая живучесть,
века неволи в них ее вольют.

Он тащит груз, а сам грустит по сини,
он от любовной ярости вопит,
его терпенье пестуют пустыни.
Я весь в него — от песен до копыт.

Не надо дурно думать о верблюде.
Его черты брезгливы, но добры.
Ты погляди, ведь он древней домбры
и знает то, чего не знают люди.

Шагает, шею шепота вытягивая,
проносит ношу, царственен и худ,—
песчаный лебедин, печальный работяга,
хорошее чудовище верблюд.

Его удел — ужасен и высок,
и я б хотел меж розовых барханов,
из-под поклаж с презреньем нежным глянув,
с ним заодно пописать на песок.

Мне, как ему, мой Бог не потакал.
Я тот же корм перетираю мудро,
и весь я есмь моргающая морда,
да жаркий горб, да ноги ходока.

* * *

Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Среди сосен и скал там нам было на все начихать.
Там у синего моря цветы на камнях розовели
и дремалось цветам под языческий цокот цикад.

Мы забыли беду, мы махнули рукой на заботы,
мы сказали нужде: «Подожди-ка нас дома, нужда!»
Дома ссорились мы. Я тебе говорил: «Ну чего ты?»
И в глаза целовал, и добра ниоткуда не ждал.

Так уж вышло у нас. Ничего мы с тобой не сумели.
Я дымлю табаком, надо мной воздушок сине-сиз.
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Там мы рвали кизил и ходили пешком в Симеиз.

Бесшабашное солнце плыло в галактических высях
над просоленной галькой — обломышем древних пород...
Я от кривды устал, я от горнего голода высох,
не смеются глаза, и улыбкой не красится рот.

Убежим от себя — хоть на край, хоть на день, хоть на час мы.
Ну-ка платье надень, ну-ка ношу на камни свали —
и забудем о том, что запутаны мы и несчастны,
и в смеющейся влаге утопим тревоги свои...

Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Он висел между скал и глаза нам лазурью колол.
Жарко-ржавые пчелы от сока живьем осовели,
черкал ящерок яркий. Скакал по камням богомол.

Там нам было тепло. А бывало, от стуж коченели.
Государственный холод глаза голубые гасил...
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Там шершава трава и неслыханно кисел кизил.

* * *

Как стали дни мои тихи.
Какая жалость!
Не в масть поре мои стихи,
как оказалось.

Для жизни надобно служить
и петь т а р а м - т а м.
А как хотелось бы прожить
одним талантом!..

Махну, подумавши, рукой —
довольно бредней:
не я — единственный такой,
не я — последний.

Добро ль, чтоб голос мой гремел,
была б охота,
а вкалывал бы, например,
безмолвный кто-то?

Всему живому друг и брат
под русским небом,
я лучше у церковных врат
за нищим хлебом.

Пускай стихам моим пропасть,
без славы ляснув,
зато, веселым, что им власть
мирских соблазнов?

Что им, неслышным, взор тупой,
корысть и похоть,
тщеславье тех, кто нас с тобой
берет под ноготь?

Моя безвестная родня,
простые души,
не отнимайте у меня
нужды и стужи.

В полдневный жар, в полночный мрак,
строкой звуча в них,
я никому из вас не враг
и не начальник.

Чердак поэта — чем не рай?
Монтень да тюлька.
Еще, пожалуйста, сыграй,
моя свистулька.

Россия — это не моря,
леса, долины.
С ее душой душа моя
неразделимы.

* * *

Меня одолевает острое
и давящее чувство осени.
Живу на даче как на острове,
и все друзья меня забросили.

Ни с кем не пью, не философствую,
забыл и знать, как сердце влюбчиво.
Долбаю землю пересохшую
да перечитываю Тютчева.

В слепую глубь ломлюсь напористей
и не тужу о вдохновении,
а по утрам трясусь на поезде
служить в трамвайном управлении.

В обед слоняюсь по базарам,
где жмот зовет меня папашей,
и весь мой мир засыпан жаром
и золотом листвы опавшей.

Не вижу снов, не слышу зова,
и будням я не вождь, а данник.
Как на себя гляжу на дальних,
а на себя — как на чужого.

С меня, как с гаврика на следствии,
сползает позы позолота.
Никто ни завтра, ни впоследствии
не постучит в мои ворота.

Я — просто я. А был, наверное,
как все, придуман ненароком.
Все тише, все обыкновеннее
я разговариваю с Богом.

* * *

Когда с тобою пьют,
не разберешь по роже,
кто — прихвостень и плут,
кто — попросту хороший.

Мне все друзья святы́.
Я радуюсь, однако,
учуяв, что и ты
из паствы Пастернака.

Но мне важней втройне
в разгаре битв заветных,
на чьей ты стороне —
богатых или бедных.

Пусть муза и умрет,
блаженствуя и мучась.
Но только б за народ,
а не за власть имущих.

Увы, мой стяг — мой стих,
нам абсолютно плохо;
не узнаёт своих
безумная эпоха.

* * *

Вся соль из глаз повытекала,
безумьем волос шевеля,
во славу вам, политиканы,
вам, физики, вам, шулера.

Спасая мир от милой дури,
круты вы были и мудры,
не то что мы — спиртягу дули
да умирали от муры.

Выходят боком эти граммы.
Пока мы их хлестали всласть,
вы исчисляли интегралы
и завоевывали власть.

Владыками, а не гостями
хватали время под уздцы,—
подготовители восстаний
и открыватели вакцин.

Вы сделали достойный вывод,
что эти славные дела
людское племя осчастливят,
на зло накинут удила.

По белу свету телепаясь,
бренча, как битая бутыль,
сомненья списаны в утиль,
да здравствует утилитарность!

А я, дивясь на эту жуть,
тянусь поджечь ее цигаркой,
вступаю в заговор цыганский,
зову пророков к мятежу.

О чары чертовых чернильниц
с полуночи и до шести!..
А вы тем временем женились
на тех, кто мог бы мир спасти.

Не доверяйте нашим лирам:
отпетым нечего терять.
Простите, что с суконным рылом
втемяшился в калашный ряд.

Но я не в школах образован,
а больше в спорах да в гульбе.
Вы — доктора, а я — плебей,
и мне плевать на все резоны.

Пойду мальчишкой через век
сухой и жаркою стернею.
Мне нужен Бог и Человек.
Себе оставьте остальное.

* * *

Колокола голубизне
рокочут медленную кару,
пойду по желтому пожару,
на жизнь пожалуюсь весне.

Тебя поносят фарисеи,
а ты и пикнуть не посмей.
Пойду пожалуюсь весне,
озябну зябликом в росе я.

Часы веселья так скупы,
так вечно косное и злое,
как будто все в меня весною
вонзает пышные шипы.

Я, как бессонница, духовен
и беззащитен, как во сне.
Пойду пожалуюсь весне
на то, что холод не уходит.

* * *

Весна — одно, а оттепель — иное:
сырая грязь, туманов серый дым,
слабеет лед, как зуб крошась и ноя,
да жалкий дождь трещит на все лады.

Ее приметы сумрачны и зыбки.
В ее теплыни холод затаен.
И снег — не снег, и тает по ошибке,
да жалкий дождь клубится сатаной.

Все планы — в прах, все вымыслы повыбрось,
не доверяй минутному теплу.
Куда ни глянь — все мокрота и рыхлость,
да жалкий дождь стекает по стеклу.

И мы хмелеем, даром что тверезы,
разинув рты на слякотную хмарь.
Но молча ждут мордастые морозы,
да жалкий дождь бубнит как пономарь.

* * *

Нам стали говорить друзья,
что им у нас бывать нельзя.

Что ж? Не тошней, чем пить сивуху,
прощаться с братьями по духу,

что валят прямо и тайком
на времена и на райком.

Окончат шуткой неудачной
и — вниз по лестнице чердачной.

А мы с тобой глядим им вслед
и на площадке тушим свет.

* * *

Живу на даче. Жизнь чудна.
Свое повидло...
А между тем еще одна
душа погибла.

У мира прорва бедолаг,—
о сей минуте
кого-то держат в кандалах,
как при Малюте.

Я только-только дотяну
вот эту строчку,
а кровь людская не одну
зальет сорочку.

Уже за мной стучатся в дверь,
уже торопят,
и что ни враг — то лютый зверь,
что друг — то робот.

Покойся в сердце, мой Толстой,
не рвись, не буйствуй,—
мы все привычною стезей
проходим путь свой.

Глядим с тоскою, заперты,
вослед ушедшим.
Что льда у лета, доброты
просить у женщин.

Какое пламя на плечах,
с ним нету сладу,—
принять бы яду натощак,
принять бы яду.



И ты, любовь моя, и ты —
ладони, губы ль —
от повседневной маеты
идешь на убыль.

Как смертью веки сведены,
как смертью — веки,
так все живем на свете мы
в Двадцатом веке.

Не зря грозой ревет Господь
в глухие уши:
— Бросайте все! Пусть гибнет плоть.
Спасайте души!

* * *

Когда трава дождем сечется
и у берез стволы сочатся,
одна судьба у пугачевца —
на виселице покачаться.

И мы качаемся, босые,
в полях обшмыганных и черных.
О нас печалится Россия
очами синими девчонок.

А ночь на Русь упала чадом,
и птицу-голову на жердь вы,
хоть на плечах у палача там
она такая ж, как у жертвы.

А борода его смеется,
дымящаяся и живая,
от казака до инородца
дружков на гульбище сзывая.

А те дружки не слышат зова
и на скоромное не падки,
учуяв голос Пугачева,
у них душа уходит в пятки.

А я средь ночи и тумана
иду один, неотреченный,
за головою атамана,
за той отчаянной и черной.

* * *

Не брат с сестрой, не с другом друг,
без волшебства, без чуда,
живем с тобой как все вокруг —
ни хорошо, ни худо.

Не брат с сестрой, не с другом друг,
еще смеемся: «Эка
беда!» — меж тем как наш недуг
совпал с бедою века.

Не брат с сестрой, не с другом друг,
а с женщиной мужчина,
мы сходим в ад за кругом круг,
и в этом вся причина.

Не брат с сестрой, не с другом друг,
и что ни шаг — то в бездну,—
и хоть на плаху, но из рук,
в которых не воскресну.

* * *

Уходит в ночь мой траурный трамвай.
Мы никогда друг другу не приснимся.
В нас нет добра, и потому давай
простимся.

Кто сочинил, что можно быть вдвоем,
лишившись тайн в пристанище убогом,
в больном раю, что, верно, сотворен
не Богом?

При желтизне вечернего огня
как страшно жить и плакать втихомолку.
Четыре книжки вышло у меня.
А толку?

Я сам себе растлитель и злодей
и стыд и боль как должное приемлю,
за то что все придумывал — людей
и землю.

А хуже всех я выдумал себя.
Как мы в ночах прикармливали зверя,
как мы за ложь цеплялись не любя,
не веря.

Как я хотел хоть малое спасти.
Но нет спасенья, как прощенья нету.
До судных дней мне тьму свою нести
по свету.

Я все снесу. Мой грех, моя вина.
Еще на мне и все грехи России.
А ночь темна, дорога не видна...
Чужие...

Страшна беда совместной суеты,
и в той беде ничто не помогло мне.
Я зло забыл. Прошу тебя: и ты
не помни.

Возьми все блага жизни прожитой,
по дням моим пройди, как по подмостью.
Но не темни души своей враждой
и злостью.

* * *

И вижу зло, и слышу плач,
и убегаю, жалкий, прочь,
раз каждый каждому палач
и никому нельзя помочь.

Я жил когда-то и дышал,
но до рассвета не дошел.
Темно в душе от божьих жал,
хоть горсть легка, да крест тяжел.

Во сне вину мою несу
и — сам отступник и злодей —
безлистым деревом в лесу
жалею и боюсь людей.

Меня сечет господня плеть,
и под ярмом горбится плоть,—
и ноши не преодолеть,
и ночи не перебороть.

И были дивные слова,
да мне сказать их не дано,
и помертвела голова,
и сердце умерло давно.

Я причинял беду и боль,
и от меня отпрянул Бог
и раздавил меня, как моль,
чтоб я взывать к нему не мог.

* * *

Тебя со мной попутал бес
шататься зимней чащей,
где ты сама была как лес,
тревожный и молчащий.

В нем снег от денного тепла
лежал тяжел и лепок —
и стыли ножки у тебя
в ботиночках нелепых.

Мы шли по лесу наугад,
навек, напропалую,
и ни один не видел гад,
как я тебя целую.

Дышал любимой на виски
и молча гладил руки
и задыхался от тоски
и нестерпимой муки.

Нам быть счастливыми нельзя,
а завтра будет хуже,—
и лишь древесные друзья
заглядывали в души.

Да с лаской снежная пыльца,
неладное почуяв,
касалась милого лица
и горьких поцелуев.

* * *

В январе на улицах вода,
темень с чадом.
Не увижу неба никогда
сердцем сжатым.

У меня из горла — не слова,
боли комья.
В жизни так еще не тосковал
ни по ком я.

Ты стоишь, как Золушка, в снегу,
ножки мочишь.
Улыбнись мне углышками губ,
если можешь.

В январе не разыскать следов.
Сны холонут.
Отпусти меня, моя любовь,
камнем в омут.

Мне не надо больше смут и бед,
славы, лени.
Тихо душу выдохну тебе
на колени.

Упаду на них горячим лбом.
Ох как больно!
Вся земля — не как родильный дом,
а как бойня.

В первый раз приходит рождество
в черной роли.
Не осталось в мире ничего,
кроме боли.

И в тоске, и в смерти сохраню
отсвет тайны.
Мы с тобой увидимся в раю.
До свиданья.

* * *

Сними с меня усталость, матерь Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспошли остуду и дремоту
на мое тело, длинное как жердь.

Я так устал. Мне стало все равно.
Ко мне всего на три часа из суток
приходит сон, томителен и чуток,
и в сон желанье смерти вселено.

Мне книгу зла читать невмоготу,
а книга блага вся перелисталась.
О матерь Смерть, сними с меня усталость,
покрой рядном худую наготу.

На лоб и грудь дохни своим ледком,
дай отдохнуть светло и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
что всем другим привычно и легко.

Я верил в дух, безумен и упрям,
я Бога звал — и видел ад воочью,—
и рвется тело в судорогах ночью,
и кровь из носу хлещет по утрам.

Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал. Как раб или собака.
Сними с меня усталость, матерь Смерть.

Колокол

Возлюбленная! Ты спасла мои корни!
И волю, и дождь в ликовании пью.
Безумный звонарь, на твоей колокольне
в ожившее небо как в колокол бью.

О как я, тщедушный, о крыльях мечтал,
о как я боялся дороги окольной.
А пращуры душу вдохнули в металл
и стали народом под звон колокольный.

Да буду и гулок, как он, и глубок,
да буду, как он, совестлив и мятежен.
В нем кротость и мощь. И ваятель Микешин
всю Русь закатал в тот громовый клубок.

* * *

Когда взыграют надо мной
весны трагические трубы,
мне вслед за ними поутру бы
и только при смерти домой.

Как страшно спать под мертвой кровлей,
а не под ласковой листвой
и жить не мудростью людской,
а счастья суетною ловлей.

Но держат шоры грошевые,
служебно-паспортный режим,
чтоб я остался недвижим
и все мы были неживые.

Вот почему, как в жар дождя,
как ждут амнистии под стражей,
я жду шагов твоих с утра уже,
до крика к вечеру дойдя.

Свое дневное отработав
за-ради скудного куска,
мы — должники твои, тоска
пустынных лестничных пролетов.

Но уведи меня туда,
где мир могуч, а травы пряны,
где наши ноющие раны
омоет нежная вода.

Там ряска сеется на заводь
сквозь огневое решето,
и мы возьмем с собой лишь то,
что и в раю нельзя оставить.

Из всей древесности каштан
достоин тысячи поклонов,
а из прозаиков — Платонов,
а из поэтов — Мандельштам.

Там дышит хмель и каплет сок,
и, трав телесностью наполнясь,
ты в них вдохнешь свою духовность
и станешь легкой, как цветок.

Там все свежо и озаренно
и ничему запрета нет,
навеянному с детских лет
новеллами Декамерона.

Там все, что лесом прожито,
хранит малюсенький кустарник,
он не слыхал стихов бездарных
и разговоров ни про что.

Там пир всемирного братанья,
и только люди — без корней.
Так уведи меня скорей
туда, где все — добро и тайна.

* * *

Ф. Кривину

Я груз небытия вкусил своим горбом:
смертельна соль воды, смертельна горечь хлеба,—
но к жизни возвращен обыденным добром —
деревьями земли и облаками неба.

Я стер с молчащих губ отчаянья печать,
под нежной синевой забыл свои мученья.
Когда не слышно слов, всему дано звучать,
все связано со всем и все полно значенья.

И маску простоты с реальности сорвав,
росой тяжелых зорь умыв лицо и руки,
как у священных книг, у желтоглазых трав
играючи учусь безграмотной науке.

Из кроткой доброты и мудрого стыда
кую свою броню, трудом зову забавы
и тихо говорю: «Оставьте навсегда
отчаянье и страх, входящие сюда вы».

На благодарный пир полмира позову,
навстречу счастью засвечу ресницы,—
и ничего мне больше не приснится:
и ад, и рай — все было наяву.

* * *

Цветы лежали на снегу,
твое лицо тускнело рядом,—
и лишь дыханием и взглядом
я простонать про то смогу.

Был воздух зимний и лесной,
как дар за годы зла и мрака,
была могила Пастернака
и профиль с каменной слезой.

О счастье, что ни с кем другим
не шел ни разу без тебя я,
на строчки бережно ступая,
по тем заснежьям дорогим.

Как после неуместен был
обед в полупарадном стиле,
когда еще мы не остыли
от пастернаковской судьбы...

Звучи, поэзия, звучи,
как Маяковский на Таганке!
О три сосны — как три цыганки,
как три языческих свечи...

Когда нам станет тяжело,
ты приходи сюда погреться,
где человеческое сердце
и под землей не зажило.

Чужую пыль с надгробья смой,
приникни ртом к опальной ране,
где я под вещими ветрами
шумлю четвертою сосной.

* * *

Трепещу перед чудом господним,
потому что в бездушной ночи
никого я не спас и не поднял,
по-пустому слова расточил.

Ты ж таинственней черного неба,
золотей Мандельштамовых тайн.
Не меня б тебе знать, и не мне бы
за тобою ходить по пятам.

На земле не пророк и не воин,
истомленный твоей красотой,—
как мне горько, что я не достоин,
как мне стыдно моей прожитой.

Разве мне твой соблазн и духовность,
колокольной телесности свет?
В том, что я этой радостью полнюсь,
ничего справедливого нет.

Я ничтожней последнего смерда,
но храню твоей нежности звон,
что, быть может, одна и бессмертна
на погосте отпетых времен.

Мне и сладостно, мне и постыдно.
Ты — как дождь от лица до подошв.
Я тебя никогда не постигну,
но погибну, едва ты уйдешь.

Так прости мне, что заживо стыну,
что свой крест не умею нести,
и за стыд мой, за гнутую спину
и за малый талант мой — прости.

Пусть вся жизнь моя в ранах и в оспах,
будь что будет, лишь ты не оставь,
ты — мой свет, ты — мой розовый воздух,
смех воды, поднесенной к устам.

Ты в одеждах и то как нагая,
а когда все покровы сняты,
сердце падает, изнемогая,
от звериной твоей красоты.

* * *

Куда мне бежать от бурлацких замашек?
Звенят небеса высоко.
На свете совсем не осталось ромашек
и синих, как сон, васильков.

Отдай мою землю с дождем и рябиной,
верни мне березы в снегу.
Я в желтые рощи ушел бы с любимой,
да много пройти не смогу.

Лишь воздух полуночи мой собеседник.
Сосняк не во сне ли возник?
Там серый песок, там чебрец и бессмертник,
там дикие звезды гвоздик.

Бросается в берег русалочья брага.
Там солнышком воздух согрет.
И сердце не помнит ни худа, ни блага,
ни школьных, ни лагерных лет.

И Вечность вовек не взойдет семицветьем
в загробной безрадостной мгле.
И я не рожден в девятьсот двадцать третьем,
а вечно живу на земле.

Я выменял память о дате и годе
на звон в поднебесной листве.
Не дяди и тети, а Данте и Гёте
со мной в непробудном родстве.

Из сонетов любимой

1

Как властен в нас бессмысленного зов,
как страшен грех российского развала.
Под ним нагнулись чаши всех весов,
и соль земли его добром назвала.

Безбожной бурей выплеснут из вала,
мир начинался голенький с азов.
Как Страшный суд, в нем шел отсев отцов:
духовность гибла, низость выживала.

Когда бы знал, никто б не стал рождаться
в позорный век позорного гражданства,
с живой душой под мертвою стопой.

Рай нашей жизни хрупок и громоздок.
Страх духом стал. Ложь подменила воздух.
В такой-то век я встретился с тобой.

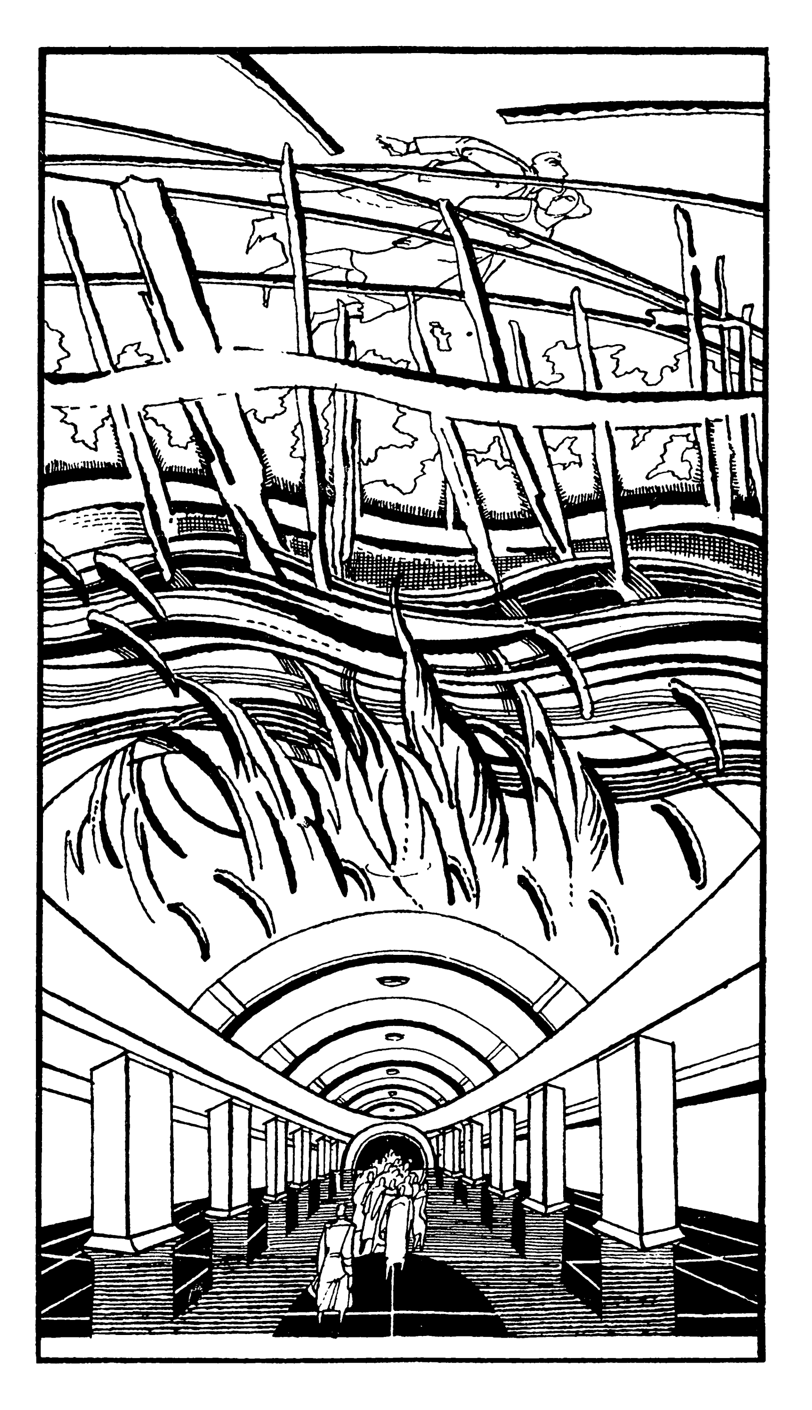
2

У явного злодейства счет двойной,
проливший кровь будь первым наготове:
звереет боль и собранные брови
грозят насилью мстительной войной.

И Вечности не жаль отмщенной крови.
Но ложь страшна бескровною виной.
Ей нет суда. Поймай ее на слове.
Всем хорошо, все сыты тишиной.

Добрей петля и милосердней нож.
Не плоть, а души убивает ложь,
до смерти в совесть всосанная с детства.

Словесомолы, неучи, ханжи,
мы — тени тел, приникшие ко лжи,
и множим ложь в ужасное наследство.



— Ответьте мне, Сервантес и Доре,
почто так жалок рыцарь из Ламанчи,
зачем порок так царственно заманчив
и почему нет радости в добре?

Так вопрошал я в чертовой дыре,
боль вечных ран надеждой не занянчив,
у мертвых и живых ответа клянчив,
но был уклончив он о той поре.

Под ношей зла, что сердцу тяжела,
когда б я знал, что рядом ты жила,
что и добро и свет полны соблазна.

В твоих губах цвел радости ответ:
— Лицо Любимой излучает свет,
а харя зла темна и безобразна.

4

Не спрашивай, что было до тебя.
То был лишь сон, давно забыл его я.
По кругу зла под ружьями конвоя
нас нежил век, терзая и губя.

От наших мук в лесах седела хвоя,
хватал мороз, дыхание клубя.
В глуби меня угасло все живое,
безвольный дух в печали погребя.

В том страшном сне, минутная, как милость,
чуть видно ты, неведомая, снилась.
Я оживал, в других твой свет любя.

И сам воскрес, и душу вынес к полдню,
и все забыл, и ничего не помню.
Не спрашивай, что было до тебя.

5

Для счастья есть стихи, лесов сырые чащи
и синяя вода под сенью черных скал,
но ты в сто тысяч раз таинственней и слаще
всего, что видел взор и что рассудок знал.

Когда б мне даровал небесный аксакал
джорджоневский закал, заманчивый и зрящий,
то я б одну тебя бросал на холст горящий,
всю жизнь тебя для всех лепил и высекал.

Почто, из тьмы один, лишь я причастен чуду?
Есть лучшие, чем я. С кем хочешь и повсюду
будь счастлива. А я, хвала твоим устам,

уже навек спасен, как Господом католик.
По капле душу пей томливыми, с которых
еще не отжурчал блаженный Мандельштам.

6

Люблю твое лицо. В нем каждая черта —
от облачного лба до щекотных ресничек —
стесняется сказать, как ландышно чиста
душа твоя, сестра деревьев и лесничих.

Тому, кто чист душой, привычна нищета.
Для бывших бунтарей мы нищие из нищих.
Но ты, не помня зла, беспечностью казнишь их
Перед лицом твоим не страшно ни черта.

Люблю в него смотреть с наивностью сектанта.
Когда читаешь вслух Гомера или Данта,
нет в мире никого духовнее, чем ты.

Но тихо льется ночь в древесные стаканы,
и ласк твои труды медлительно-медвяны,
и прелести твоей не надо темноты.

7

Твое лицо светло как на иконе,
ты в зное снов святишься, как река.
Хвала тебе! Крылаты наши кони.
Как душен век! Как Вечность коротка!

Мне без тебя — ни вздоха, ни глотка.
О сколько жара тайного в тихоне!
Стыдишься слов? Спроси мои ладони,
как плоть твоя тревожна и гладка.

Отныне мне вовек не будет плохо.
Не пороню ни жалобы, ни вздоха,
и в радость боль, и бремя — благодать.

Кто приникал к рукам твоим и бедрам,
тот внидет в рай, тому легко быть добрым.
О, дай Господь всю жизнь тебя ласкать!

8

Смиренница, ты спросишь: где же стыд?
Дикарочка, воскликнешь: ты нескромен.
И буду я в глазах твоих уронен,
и детский взор обиды не простит.

Но мой восторг не возводил хоромин,
он любит свет, он сложное простит.
Я — беглый раб с родных каменоломен.
Твоя печаль на лбу моем блестит.

Моим глазам, твое лицо нашедшим,
после тебя тоска смотреть на женщин,
как после звезд на сдобный колобок.

Меня тошнит, что люди пахнут телом.
Ты вся — душа, вся в розовом и белом.
Так дышит лес. Так должен пахнуть Бог.

9

Великая любовь душе моей дана.
Ей радостью такой дано воспламениться,
что в пламени ее рассыпались страницы,
истлела волчья шерсть и стала высь видна.

И я узнал, что жизнь без чуда холодна,
что правда без добра ловчит и леденится,
что в мире много правд, но истина одна,
разумных миллион, а мудрых единицы,

что мир, утратив стыд, любовью то зовет,
когда у божества вздувается живот
и озорство добра тишает перед прозой.

Исполненный тоски за братьев и сестер,
я сердце обнажил и руки распростер
и озарил простор звездой черноволосой.

10

Черноволос и озаренно-розов,
твой образ вечно будет молодым,
но старюсь я, несбывшийся философ,
забытый враль и нищий нелюдим.

Ты древней расы, я из рода россов
и, хоть не мы историю творим,
стыжусь себя перед лицом твоим.
Не спорь. Молчи. Не задавай вопросов.

Мне стыд и боль раскраивают рот,
когда я вспомню все, чем мой народ
обидел твой. Не менее чем девять

веков легло меж нами. И мало́ —
загладить их — все лучшее мое.
И как мне быть? И что ты можешь сделать?

11

В тебе семитов кровь туманней и напевней
земли, где мы с тобой ромашкой прорастем.
Душа твоя шуршит пергаментным листом.
Я тайные слова читаю на заре в ней.

Когда жила не здесь, а в Иудее древней,
ты всюду по пятам ходила за Христом,
волшбою всех тревог, весельем всех истом,
всей нежностью укрыв от разъяренных гребней.

Когда ж он выдан был народному суду
и в муках умирал у черни на виду,
а лоб мальчишеский был терньями искусан,

прощаясь и скорбя, о как забились вдруг
проклятьем всех утрат, мученьем всех разлук
ладони-ласточки над распятым Исусом.

12

Бессмыслен русский национализм,
но крепко вяжет кровью человечьей.
Неужто мало трупов и увечий,
что этим делом снова занялись?

Ты слышишь вопль напыщенно-зловещий?
Пророк-погромщик, осиянно-лыс,
орет в статьях, как будто бы на вече,
и тучами сподвижники нашлись.

«Всех бед,— кричат,— виновники евреи,
народа нет корыстней и хитрее —
доколь терпеть иванову горбу?»

А нам еще смешно от их ужимок.
Светла река, и в зарослях кувшинок
веслом веселым к берегу гребу.

13

Палатка за ночь здорово промокла.
Еще свежо от утренней росы.
Течет туман с зеленой полосы,
а я тебе читаю вслух Софокла.

В селе заречном редко лают псы,
а кроме них, на свете все замолкло.
Под щебет птиц чуть движутся часы,
а я тебе читаю вслух Софокла.

Когда уйдем, хочу, чтоб ты взяла
с собою воздух леса и села
и старых ран чтоб кровь на мне засохла.

Нам век тяжел. Нам братья не друзья.
Мир обречен. Спасти его нельзя.
А я тебе читаю вслух Софокла.

14

Мне о тебе, задумчиво-телесной,
писать — что жизнь рассказывать свою.
Ты — мой собор единственный, ты — лес мой,
в котором я с молитвою стою.

Ты — все, чем я дышал в родном краю:
полынь полей, мед пасеки небесной,
любовь к добру, и ужас перед бездной,
и в черный час презренье к холую.

Вся жизнь моя. Как мне вместить все это
в один пролет мгновенного сонета,
не пропустив, не предав ничего,

чтоб ты, как мир, воскресла белой ранью,
как божество, доступное желанью,
как вышних чар над бренным торжество.

15

«Смешно толпе добро»,— такой припев заладя,
не я ли с давних пор мотал себе на ус
извечнейший, как жизнь, как солнышка с оладьей,
с застенчиво-смешным прекрасного союз.

И мы с тобой смешны, как умникам Исус,
как взрослому дитя, как Мандельштам и Надя.
Твоей душе молясь, твои колени гладя,
я над самим собой мальчишески смеюсь.

Устроено хитро, что нежность и величье
нам часто предстают в комическом обличье.
Так, может быть, и нас запомнят наизусть?

Вот скачет Дон Кихот — и хлоп с лошадки наземь!
Зачем же он смешон? Затем, что он прекрасен.
Смешны избранники. Тем хуже? Ну и пусть!

16

Когда уйдут в бесповоротный путь
любви моей осенние светила,
ты напиши хоть раз когда-нибудь
стихи про то, как ты меня любила.

Я не прошу: до смерти не забудь.
Ты и сама б до смерти не забыла.
Но напиши про все, что с нами было,
не дай добру в потопе потонуть.

Глядишь — и я сквозь вечную разлуку
услышу их. Я буду рад и звуку:
дождинкой светлой в ночь мою стеки.

И я по звуку нарисую образ.
О, не ласкать, не видеть — но еще б раз
душой услышать милые стихи.

17

Какое счастье, что у нас был Пушкин.
Сто раз скажу, хоть присказка стара.
Который год в загоне мастера
и плачет дух над пеплищем потухшим.

Топор татар, Ивана и Петра,
смех белых вьюг да темный зов кукушкин,—
однако ж голь на выдумку хитра:
какое счастье, что у нас был Пушкин!

Который век безмолвствует народ
и скачет Медный задом наперед,—
но дай нам Бог не дрогнуть перед худшим,

брести к добру заглохшею тропой.
Какое счастье, что у нас есть Пушкин!
У всей России. И у нас с тобой.

18

Не льну к трудам. Не состою при школах.
Все это ложь и суета сует.
Король был гол. А сколько истин голых.
Как жив еще той сказочки сюжет.

Мне ад везде. Мне рай у книжных полок.
И как я рад, что на исходе лет
не домосед, не физик, не геолог,
что я никто — и даже не поэт.

Мне рай с тобой. Хвала Тому, кто ведал,
что делает, когда мне дела не дал.
У ног твоих до смерти не уныл,

не часто я притрагиваюсь к лире,
но счастлив тем, что в рушащемся мире
тебя нашел — и душу сохранил.

Весенние стансы

1

Над всей землей — ласкающая высь.
Зато зимой я весь мольба: «Явись!»
Весна нисходит к любящим с высот
и всех живых от холода спасет.

2

Как с губ ребенка первые слова,
пробилась тонко первая трава,
спросонок почки щурятся с ветвей,
и самый свет становится светлей.

3

В последний раз мы печку разожжем.
Еще деревья дремлют нагишом,
но даже корни чувствуют весну —
и с ними я все ночи не засну.

4

В моей руке любимая рука.
Да будет ей любовь моя легка.
Возьми, весна, и нас в одно свяжи,
чтоб стали дни просторны и свежи.

5

Я прожил годы в горе и тоске,
бросал на ветер, строил на песке
и заплатил всей мукою земной,
чтоб в этот час она была со мной.

6

Цветами рощ, каменьями морей
пестро жилье возлюбленной моей,
скворечня муз, где прозы шум и лязг
нам не слышны среди стихов и ласк.

7

Лети, душа, за солнышком в зенит!
Пусть каждый шаг о радости звенит
и длится сон, и слышу горний зов
под белый звон святых колоколов.

8

Весна нисходит, землю веселя.
Ее призыв услышала земля.
О, как еще ей зябко по утрам,
но свет влечет, и смысл его упрям.

9

Так дай, о жизнь, безмерна и щедра,
сто раз коснуться милого бедра
и по весне морозною зарей
в блаженном сне на родине зарой.



Таллинн

У Бога в каменной шкатулке
есть город темной штукатурки,
испорошившейся на треть,
где я свое оставил сердце —
не подышать и насмотреться,
а полюбить и умереть.

Войдя в него, поймете сами,
что эти башенки тесали
для жизни, а не красоты.
Для жизни — рынка заварушка,
и конной мельницы вертушка,
и веры тонкие кресты.

С блаженно-нежною усмешкой
я шел за юной белоснежкой,
былые горести забыв.
Как зябли милые запястья,
когда наслал на нас ненастье
свинцово-пепельный залив.

Но доброе средневековье
дарило путников любовью,
как чудотворец и поэт.
Его за скудость шельмовали,
а все ж лошадки жерновами
мололи суету сует...

У Бога в каменной шкатулке
есть жестяные переулки,
домов ореховый раскол
в натеках смол и стеарина
и шпиль на ратуше старинной,
где Томас лапушки развел.

За огневыми витражами
пылинки жаркие дрожали
и пел о Вечности орган.

О город готики господней,
в моей безбожной преисподней
меня твой облик настигал.

Наверно, я сентиментален.
Я так хочу вернуться в Таллинн
и лечь у вышгородских стен.
Там доброе средневековье
колдует людям на здоровье —
и дух не алчет перемен.

Литва — впервые и навек

Одну я прожил или две,
неволен и несветел,
но я не думал о Литве,
пока тебя не встретил.

Сквозь дым и сон едва-едва
нашел единоверца.
А ты мне все: «Литва, Литва...» —
как о святыне сердца...

И вот, дыханье затая,
огнем зари облиты,
сошли как в тайну ты и я
на вильнюсские плиты.

Плыла, как лодочка, Литва,
смолою пахли доски,
в лесах высокая листва
шумела по-литовски.

Твои глаза под цвет лесов,
так сладко целовать их,
но рядом тысячи христов
повисли на распятьях.

Я ведал сам и верил снам,
бродя по крестной пуще,
что наш восторг ее сынам
был оскорбленья пуще.

Пусть я из простаков простак,
но как нам выжить все же,
когда от боли на крестах
дрожат ладони божьи?..

И мученическая смерть
ни капли не суровей,
чем о любви своей не сметь
проговориться в слове.

Сквозь боль пронесший на губах
озноб сосны и тмина,
Чюрлёнис — ты безумный Бах
из рощи Гедимина.

За нами гнался дикий век
своим дыханьем сжечь нас,
но серебром небесных рек
нам лбы студила Вечность.

И стали от веселых слез
у нас глаза туманны,
когда и нам пройти пришлось
у стен костела Анны.

Их тихий свет в себе храня,
их простотою мерясь,
мы не разлюбим те края,
где протекает Нерис.

Я перед той тоской винюсь,
какой никто б не вынес,
но знай, что я еще вернусь
к твоим ладоням, Вильнюс.

Рига

Как Золотую Книгу
в застежках золотых же,
я башенную Ригу
читаю по-латышски.

Улыбкой птицеликой
смеется сквозь века мне
царевна-горемыка
из дерева и камня.

Касавшиеся Риги
покоятся во прахе —
кафтаны и вериги,
тевтоны и варяги.

Здесь край светловолосых,
чье прошлое сокрыто,
но в речи отголосок
священного санскрита.

Где Даугава катит
раскатистые воды,
растил костлявый прадед
цветок своей свободы.

Он был рыбак и резчик
и тешил душу сказкой,
а воду брал из речек
с кувшинками и ряской.

Служа мечте заслоном,
ладонью меч намацав,
бросал его со звоном
на панцири германцев.

И просыпалась Рига,
ища трудов и споров,
от птиц железных крика
на острнях соборов...

А я чужой всему здесь,
и мне на стыд и зависть
чужого сна дремучесть,
чужого сада завязь.

Как божия коровка,
под башнями брожу я.
Мне грустно и неловко
смотреть на жизнь чужую.

Как будто бы на Сене,
а может быть, на Рейне
души моей спасенье —
вечерние кофейни.

Вхожу горбат и робок,
об угол стойки ранюсь
и пью из темных стопок,
что грел в ладонях Райнис...

Ушедшему отсюда
скитаться и таиться
запомнится как чудо
балтийская столица.

И ночью безнебесной
услышим я и Лиля,
как петушок железный
зовет зарю со шпиля.

Гори, сияй, перечь-ка
судьбе — карге унылой,
янтарное колечко
на пальчике у милой.

Да будут наши речи
светлы и нелукавы,
как розовые свечи
пред ликом Даугавы.

* * *

Улыбнись мне еле-еле,
что была в раю хоть раз ты.
Этот рай одной недели
назывался Саулкрасты.

Там приют наш был в палатке
у смолистого залива,
чьи доверчивы повадки,
а величие сонливо.

В Саулкрасты было небо
в облаках и светлых зорях.
В Саулкрасты привкус хлеба
был от тмина прян и горек.

В Саулкрасты были сосны,
и в кустах лесной малины
были счастливы до слез мы,
оттого что так малы мы.

Там встречалася не раз нам
мавка, девочка, певунья,
чье веселым и прекрасным
было детское безумье.

В ней не бешеное пламя,
не бессмысленная ярость,—
разговаривала с пнями,
нам таинственно смеялась...

С синим небом белый парус
занят был игрою в прятки,
и под дождь нам сладко спалось
в протекающей палатке.

Нам не быть с мечтой в разлуке.
На песок, волна, плесни-ка,
увлажни нам рты и руки
вместо праздника, брусника.

Мы живем, ни с кем не ссорясь,
отрешенны и глазасты.
Неужели мы еще раз
не увидим Саулкрасты?

Бах в Домском соборе

Светлы старинные соборы.
В одном из них по вечерам
сиял и пел орган, который
был сам похож на божий храм.

И там, воспряв из тьмы и праха,
крылами белыми шурша,
в слезах провеивала Баха
миротворящая душа.

Все лица превращались в лики,
все будни тлели вдалеке,
и Бах не в лунном парике,
а в звездном звоне плыл по Риге.

Он звал в завременную даль
от жизни мелочной и рьяной
и обволакивал печаль
светлоулыбчивой нирваной.

И мы, забыв про плен времен,
уняв умы, внимали скопно,
как он то жаловался скорбно,
то веселился, просветлен.

Мы были близкие у близких,
и в нас ни горечи, ни лжи,
и светом сумерек латвийских
просвечивали витражи.

И развевался светлый саван
под сводами, где выше гор
сиял и пел орган, и сам он
был как готический собор.

* * *

С далеких звезд мольбами отозван,
к земле прирос
и с давних пор живет в лесу литовском
Исус Христос.

Знобят дожди его нагое тело,
тоскуют с ним,
и смуглота его посеверела
от здешних зим.

Его лицо знакомо в каждом доме,
где видят сны,
но тихо стонут нищие ладони
в кору сосны.

Не слыша птиц, не радуясь покою
лесных озер,
он сел на пень и жалобной рукою
щеку подпер...

Я в ту страну лесную и речную
во сне плыву,
но все равно я ветренно ревную
к нему Литву.

Он там сидит на пенышке сосновом
под пенье ос,
и до сих пор никем не арестован
смутьян Христос.

Про черный день в его крестьянской торбе
пяток сельдей.
Душа болит от жалости и скорби
за всех людей.

Ему б — не ложь словесного искуса,
молву б листвы...
Ну как же вы не видели Исуса
в лесах Литвы?

Проклятие Петру

Будь проклят, император Петр,
стеливший души как солому!
За боль текущего былому
пора устроить пересмотр.

От крови пролитой горяч,
будь проклят, плотник саардамский,
мешок с дерьмом, угодник дамский,
печали певческой палач!

Сам брады стриг? Сам главы сек!
Будь проклят, царь-христоубийца,
за то, что кровию упиться
ни разу досыта не смог!

А Русь ушла с лица земли
в тайнохранительные срубы,
где никакие душегубы
ее обидеть не могли.

Будь проклят, ратник сатаны,
смотритель каменной мертвецкой,
кто от нелепицы стрелецкой
натряс в немецкие штаны.

Будь проклят, нравственный урод,
ревнитель дел, громада плоти!
А я служу иной заботе,
а ты мне затыкаешь рот.

Будь проклят тот, кто проклял Русь —
сию морозную Элладу!
Руби мне голову в награду
за то, что с ней не покорюсь.

Венок на могилу художника

Хоть жизнь человечья и вправду пустяк,
но, даже и чудом не тронув,
Чюрлёнис и Врубель у всех на устах,
а где же художник Филонов?

Над черным провалом летел, как Дедал,
питался как птица господня,
а как он работал и что он видал,
никто не узнает сегодня.

В бездомную дудку дудил, как Дедал,
аж зубы стучали с мороза,—
и полдень померкнул, и свет одичал,
и стала шиповником роза.

О, сможет сказать ли, кому и про что
тех снов размалеванный парус?
Наполнилось время тоской и враждой,
и Вечность на клочья распалась.

На сердце мучительно, тупо, нищо,
на свете пустынно и плохо.
Кустодиев, Нестеров, кто там еще —
какая былая эпоха!

Ничей не наставник, ничей не вассал,
насытившись корочкой хлеба,
он русскую смуту по-русски писал
и веровал в русское небо.

Он с голоду тонок, а судьи толсты,
и так тяжела его зрячесть,
что насмерть сыреют хмельные холсты,
от глаз сопричастников прячась.

А слава не сахар, а воля не мед,
и, солью до глаз ополоскан,
кто мог бы попасть под один переплет
с Платоновым и Заболоцким.

Он умер в блокаду — и нету его:
он был и при жизни бесплотен.
Никто не расскажет о нем ничего,
и друг не увидит полотен...

Я вою в потемках, как пес на луну,
зову над зарытой могилой...
...Помилуй, о Боже, родную страну,
Россию спаси и помилуй.

* * *

Тебе, моя Русь, не богу, не зверю —
молиться молюсь, а верить — не верю.

Я сын твой, я сон твоего бездорожья,
я сызмала Разину струги смолил.
Россия русалочья, Русь скоморошья,
почто не добра еси к чадам своим?

От плахи до плахи по бунтам, по гульбам
задор пропивала, порядок кляла,—
и кто из достойных тобой не погублен,
о гулкие кручи ломая крыла.

Нет меры жестокости ни бескорыстью,
и зря о твоем же добре лепетал
дождем и ветвями, губами и кистью
влюбленно и злыдно еврей Левитан.

Скучая трудом, лютовала во блуде,
шептала арапу: кровцой полечи.
Уж как тебя славили добрые люди —
бахвалы, опричники и палачи.

А я тебя славить не буду вовеки,
под горло подступит — и то не смогу.
Мне кровь заливает морозные веки.
Я Пушкина вижу на жженом снегу.

Наточен топор, и наставлена плаха.
Не мой ли, не мой ли приходит черед?
Но нет во мне грусти и нет во мне страха.
Прими, моя Русь, от сыновних щедрот.

Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем,
и мне в этой жизни не будет защит,—
и я не уйду в заграницы, как Герцен,
судьба Аввакумова в лоб мой стучит.

Печальная баллада о великом городе над Невой

Был город как соль у России,
чье имя подобно звезде.
Раскатны поля городские,
каких не бывало нигде.

Петр Первый придумал загадку,
да правнуки вышли слабы.
Змея его цапни за пятку,
а он лошака на дыбы.

Над ним Достоевского ночи
и Блока безумный приют.
Из белого мрамора ночи
над городом этим плывут.

На смерти настоянный воздух —
сам знаешь, по вкусу каков,—
хранит в себе строгую поступь
поэтов, царей, смельчаков.

Таит под туманами шрамы,
а море уносит гробы.
Зато как серебряны храмы,
дворцы зато как голубы.

В нем камушки кровью намокли,
и в горле соленый комок.
Он плачет у дома на Мойке,
где Пушкин навеки умолк.

Он медлит у каждого храма,
у мраморных статуй и плит,
отрытой строфой Мандельштама
Ахматовой сон веселит.

И, взором полцарства окинув,
он стынет на звонких мостах,
где ставил спектакли Акимов
и множил веселье Маршак.

Под пологом финских туманов
загривки на сфинксах влажны.
Уходит в бессмертье Тынянов,
как шпага уходит в ножны.

Тот город — хранитель богатства,
нет равных ему на Руси,
им можно всю жизнь любоваться,
а жить в нем Господь упаси.

В нем предала правду ученость
и верность дала перекос
и горько при жизни еще нас
оплакала Ольга Берггольц.

Грызет ли тоска петербуржцев,
свой гордый покинувших дом,
куда им вовек не вернуться,
прельщенным престольным житьем?

Во громе и пламени ляснув
над черной, как век, крутизной,
он полон был райских соблазнов,
а ныне он центр областной.

Лешке Пугачеву

Шумит наша жизнь меж завалов и ямин.
Живем, не жалея голов.
И ты россиянин, и я россиянин —
здорово, мой брат Пугачев.

Расставим стаканы, сготовим глазунью,
испивши, на мир перезлись,—
и нам улыбнется добром и лазурью
Христом охраненная высь.

А клясться не стану, и каяться не в чем.
Когда отзвенят соловьи,
мы только одной лишь России прошепчем
прощальные думы свои.

Она — в наших взорах, она — в наших нервах,
она нам родного родней,—
и нет у нее ни последних, ни первых,
и все мы равны перед ней.

Измерь ее бездны рассудком и сердцем,
пред нею душой не криви.
Мы с детства чужие князьям и пришельцам,
юродивость — в нашей крови.

Дожди и деревья в мой череп стучатся,
крещенская стужа строга,
а летом шумят воробьиные царства
и пахнут веками стога.

Я слушаю зори, подобные чуду,
я трогаю ветки в бору,
а клясться не стану и спорить не буду,
затем что я скоро умру.

Ты знаешь, как сердцу погромно и душно,
какая в нем ночь запеклась,
и мне освежить его родиной нужно,
чтоб счастий чужих не проклясть.

Мне думать мешают огни городские,
и если уж даль позвала,
возьмем с собой Лильку, пойдем по России —
смотреть, как горят купола.

Церковь в Коломенском

Все, что мечтала услышать душа
в всплеске колодезном,
вылилось в возгласе: «Как хороша
церковь в Коломенском!»

Знаешь, любимая, мы — как волхвы:
в поздней обители —
где еще, в самом охвостье Москвы,—
радость увидели.

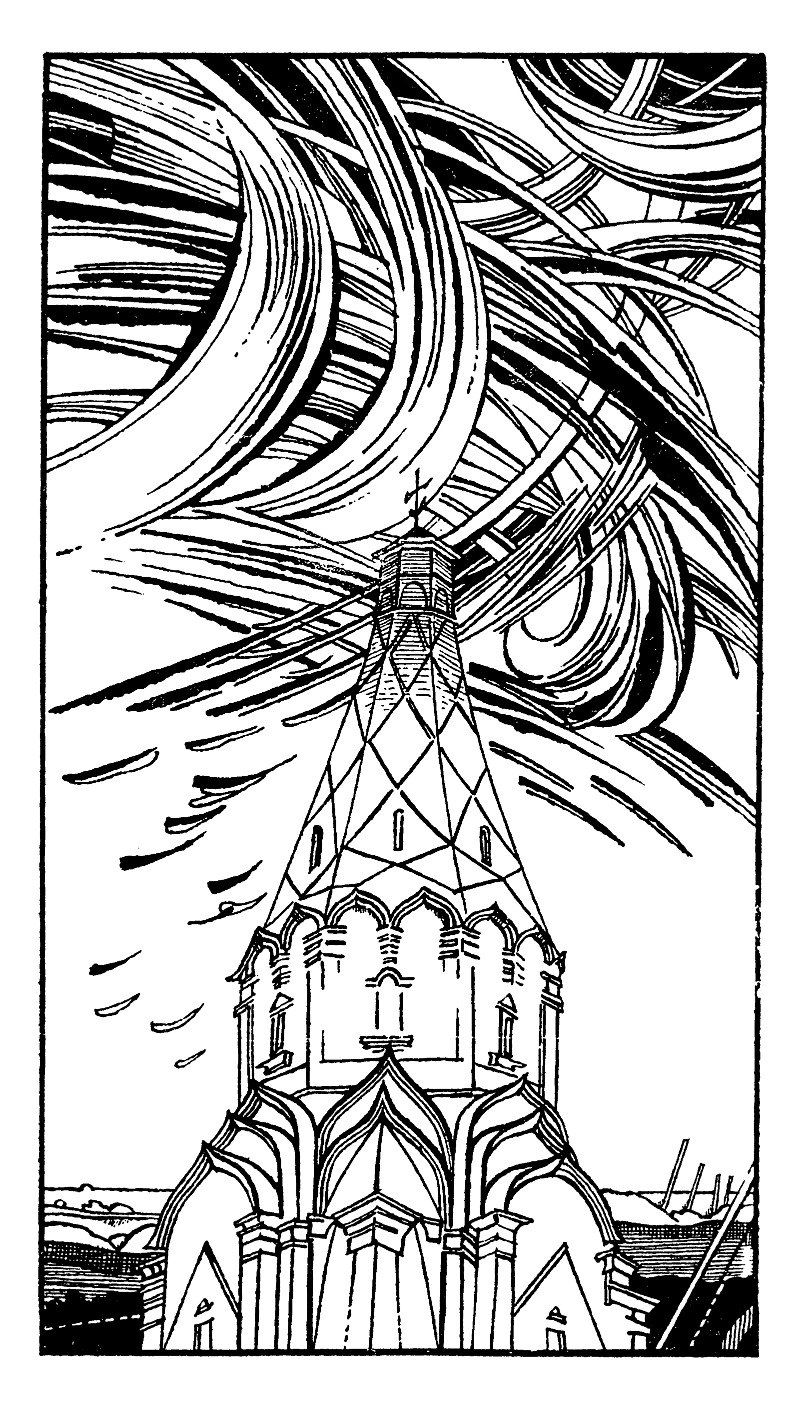
Здравствуй, царевна средь русских церквей,
бронь от обидчиков!
Шумные лица бездушно мертвей
этих кирпичиков.

Сменой несметных ненастий и вёдр
дышат, как дерево.
Как же ты мог, возвеличенный Петр,
съехать отселева?

Пей мою кровушку, пшикай в усы
зелием чертовым.
То-то ты смладу от божьей красы
зеньки отвертывал.

Божья краса в суете не видна.
С гари да с ветра я
вижу: стоит над Россией одна
самая светлая.

Чашу страданий испивши до дна,
пальцем не двигая,
вижу: стоит над Россией одна
самая тихая.



Кто ее строил? Пора далека,
слава растерзана...
Помнишь, любимая, лес да река,—
вот она, здесь она.

В милой пустыне, вдали от людей
нет одиночества.
Светом сочится, зари золотей,
русское зодчество.

Гибли на плахе, катились на дно,
звали в тоске зарю,—
но не умели служить заодно
Богу и Кесарю...

Стань над рекою, слова лепечи,
руки распахивай.
Сердцу чуть слышно журчат кирпичи
тихостью Баховой.

Это из злыдни, из смуты седой
прадеды вынесли
диво, созвучное Анне Святой
в любящем Вильнюсе.

Полные света, стройны и тихи,
чуда глашатаи,—
так вот должны воздвигаться стихи,
книги и статуи.

...Грустно, любимая. Скоро конец
мукам и поискам.
Примем с отрадою тихий венец —
церковь в Коломенском.

Девочка Суздаль

О, Русь моя, жена моя...

А. Блок

Когда воплощаются сердца мечты,
душа не безуста ль?
А не было чуда небесней, чем ты,
ах, девочка Суздаль!

Ясна и прелестна, добра и нежна
во всем православье —
из сказки царевна, из песни княжна
и в жизни сестра мне.

Как свечи, святыни твои возжены,—
пестра во цветенье,—
не тронет старинной твоей тишины
Петра нетерпенье.

Но жизней мильон у Руси на кону —
и выси ли, бездне ль,—
о, как она служит незнамо кому,
родимая безмерь!..

Ты ж дремлешь, серебряна и голуба,
средь темного мира
такой, как ремесленная голытьба
твой лик сохранила.

Ни грустного Пруста с собой не возьму,
ни Джойса, ни Кафку
на эту дарящую радость всему
зеленую травку.

В дали монастырской туман во садах,
полощется пашня,—
ах, девочка Суздаль, твоя высота
по-детски домашня.

Так весело сердцу, так празднует взгляд,
как будто Исус дал
им этот казнимый и сказочный град —
раздольную Суздаль.

Как будто я жил во чужой стороне
и вот мне явилось
то детство, какого не выпало мне,
какое лишь снилось.

Уйдут, ко святым прикоснувшись местам,
обиды и усталь,—
ты девочкой будь, ты женою не стань,
пресветлая Суздаль...

Какой ни застынь поворот головы —
и в смутах не смеркли,—
полетно поют со смиренной травы
рассветные церкви.

В воде отражается храм небольшой,
возросший над нею,
и в зареве улиц притихшей душой
к России роднею.

О, как бы любил я ее и, любя,
как был бы блажен я,
когда б мог увидеть, взглянув на тебя,
ее отраженье!

Псков

Темных сил бытия в нас —
в каждом хватит на двух.
Чем униженней явность,
тем возвышенней дух.

Меркнут славы и стоны
на Господних весах.
На земле побежденный
устоит в небесах.

Милый, с небом в соседстве,
город набожных снов,
нам приснившийся в детстве
и отысканный Псков.

В эту глушь, в бездорожье,
в этот северный лес
к людям ангелы божьи
прилетали с небес.

В русской сказке, в Печорах,
что народ сотворил,
слышен явственный шорох
гармонических крыл...

Дело было под осень.
И охота ж была
Берендеевым осам
шелушить купола!

В просветленье блаженном,
о любви говоря,
пахла снегом и сеном
синева сентября.

Чайки хлопьями пены
опадали, дремля,
на старинные стены
ветряного Кремля.

И, свой каменный ворот
раскрывая навек,
славил Господа город
у слияния рек.

Оттого ль, что с холмов он
устремлен к высоте,
в нем, лесном и холщовом,
столько неба везде.

В нем бродяжливым дебрям
предстоял по утрам
так небесно серебрян
тихой Троицы храм.

Все державные дива
становились мертвей
перед правдой наива
его кротких церквей.

Капли горнего света —
строгих душ образа.
Как не веровать в это,
если видят глаза?

Бог во срубе небесном,
тот, чьих сил не боюсь,
только с вольным и честным
заключает союз.

Хоть порою бывает,
что, исполненный сил,
он зачем-то карает
тех, кого возлюбил...

Этот город как Иов,
и, где ангел летал,
плакать бархатным ивам
по сожженным летам.

Пусть величье простое
неприглядно на вид,—
побежденный в исторьи
в небесах устоит.

Мрет в луче благодатном
государева мощь,
и — ладошкой подать нам
до михайловских рощ!

Экскурсия в Лицей

Нам удалась осенняя затея.
Ты этот миг, как таинство, продли,
когда с другими в сумерках Лицея
мы по скрипучим лестницам прошли.

Любя друг друга бережно и страшно,
мы шли по классам пушкинской поры.
Дымилась даль, как жертвенные брашна.
Была война, готовились пиры.

Горели свечи в коридорных дебрях.
Там жили все, кого я знал давно.
Вот Кюхельбекер, Яковлев, вот Дельвиг,
а вот и Он — кому за всех дано

сквозь время зреть и Вечности быть верным
и слушать мир, как плеск небесных крыл.
Он плыл органом в хоре семисферном
и егозой меж сверстниками слыл...

Легко ль идти по тем же нам дорожкам,
где в шуме лип душа его жива,
где он за музой устьем пересохшим
шептал как чудо русские слова?

От жарких дум его смыкались веки,
но и во сне был радостен и шал,
а где-то рядом в золоте и снеге
стоял дворец и сад, как Бог, дышал...

И нет причин — а мы с тобою плачем,
а мы идем и плачем без конца,
что был он самым маленьким и младшим,
поди стеснялся смуглого лица

и толстых губ, что будто не про женщин.
Уже от слез кружится голова,—
и нет причин, а мы идем и шепчем
сквозь ливни слез бессвязные слова.

Берите все, берите все березы,
всю даль, всю ширь со славой и быльем,
а нам, как свет, оставьте эти слезы,
в лицейском сне текущие по нем.

Как сладко быть ему единоверцем
в ночи времен, в горячке вековой,—
лишь ты и Он, душой моей и сердцем
я не любил нежнее никого.

А кто любил? Московская жаровня
ему пришлась по времени и впрок.
И всем он друг, ему ж никто не ровня —
ни Лев Толстой, ни Лермонтов, ни Блок.

Лишь о заре, привыкнув быть нагими,
над угольком, чья тайна так светла,
склонялись в ласке нежные богини
и все деревья Царского Села...

Уже близки державная опека
и под глазами скорбные мешки.
Но те, кто станут мученики века,
еще играют в жаркие снежки.

Еще темны воинственные вязы,
еще пруды в предутреннем дыму...
О смуглолицый, о голубоглазый,
вас переглушат всех по одному.

И по тебе судьба не даст осечки,
уложит в снег, чтоб не сошел с ума,
где вьет и крутит белые колечки
на Черной речке музонька зима...

Но знать не знает горя арапчонок —
земель и вод креститель молодой,
и синева небес неомраченных
ему смеется женской наготой.

В ребячьем сердце нежность и веселье,
закушен рот, и щеки горячи...
До наших лет из той лицейской кельи
сияет свет мальчишеской свечи.

И мы, даст Бог, до смерти не угаснем,
нам не уйти от памяти и дум.
Там где-то Грозный радуется казням,
горит в смоле свирепый Аввакум.

О, что уму небесные законы,
что град Петра, что Царскосельский сад,
когда на дыбе гибнут миллионы
и у казнимых косточки хрустят?

Молчат пустые комнаты и ниши,
и в тишине, откуда ни возьмись,
из глубины, но чудится, что свыше,
словами молвит внутренняя высь:

— Неси мой свет в туманы городские,
забыв меж строк Давидову пращу.
В какой крови грешна моя Россия,
а я ей все за Пушкина прощу.

Стихи о русской словесности

1

Ни с врагом, ни с другом не лукавлю.
Давний путь мой темен и грозов.
Я прошел по дереву и камню
повидавших виды городов.

Я дышал историей России.
Все листы в крови — куда ни глянь!
Грозный царь на кровли городские
простирает бешеную длань.

Клича смерть, опричники несутся.
Ветер крутит пыль и мечет прах.
Робкий свет пророков и безумцев
тихо каплет с виселиц и плах...

Но когда закручивался узел
и когда запенивался шквал,
Александр Сергеевич не трусил,
Николай Васильевич не лгал.

Меря жизнь гармонией небесной,
отрешась от лживой правоты,
не тужили бражники над бездной,
что не в срок их годы прожиты.

Не для славы жили, не для риска,
вольной правдой души утоля.
Тяжело Словесности Российской.
Хороши ее Учителя.

2

Пушкин, Лермонтов, Гоголь — благое начало,
соловьиная проза, пророческий стих.
Смотрит бедная Русь в золотые зерцала.
О как ширится гул колокольный от них!

И основой святынь, и пределом заклятью
как возвышенно светит, как вольно звенит
торжествующий над Бонапартовой ратью
Возрождения русского мирный зенит.

Здесь любое словцо небывало значимо
и, как в тайне, безмерны, как в детстве, чисты
осененные светом тройного зачина
наши веси и грады, кусты и кресты.

Там, за ними тремя, как за дымкой Пролога,
ветер, мука и даль со враждой и тоской,
Русской Музы полет от Кольцова до Блока,
и ночной Достоевский, и всхожий Толстой.

Как вода по весне, разливается Повесть
и уносит пожитки, и славу, и хлам.
Безоглядная речь. Неподкупная совесть.
Мой таинственный Кремль. Наш единственный храм.

О, какая пора б для души ни настала
и какая б судьба ни взошла б на порог,
в мирозданье, где было такое начало —
Пушкин, Лермонтов, Гоголь,— там выживет Бог.

Пушкин и Лермонтов

1

Никнет ли, меркнет ли дней синева,—
на небе горестном
шепчут о вечном родные слова
маминым голосом.

Что там — над бездною судеб и смут,
ангелы, верно, там?
Кто вы, небесные, как вас зовут?
— Пушкин и Лермонтов.

2

В скудости нашей откуда взялись,
нежные, во свете?
— Все перевесит блаженная высь...
— Не за что, Господи!

Сколько в стремнины, где кружит листва,
спущено неводов,—
а у ранимости лика лишь два —
Пушкин и Лермонтов.

3

Детский, о Боже, младенческий зов...
Черепом — в росы я...
Здесь их обоих — на месте, как псов,
честные взрослые.

Вволю ль повыпито водочки злой,
пуншей и вермутов?
Рано вы русскою стали землей,
Пушкин и Лермонтов.

4

Что же в нас, люди, святое мертво?
Кашель, упитанность...
Злобные алчники мира сего,
как же любить-то нас?

Не зарекайтесь тюрьмы и сумы —
экая невидаль!
Сердцу единственный выход из тьмы —
Пушкин и Лермонтов.

5

Два белоснежных, два темных крыла,
зори несметные,—
с вами с рожденья душа обрела
чары бессмертия.

Господи Боже мой, как хорошо!
Пусто и немотно.
До смерти вами я заворожен,
Пушкин и Лермонтов.

6

Крохотка неба в тюремном окне...
С кем перемолвитесь?..
Не было б доли, да выпала мне
вечная молодость.

В дебрях жестокости каждым таясь
вздохом и лепетом,
только и памяти мне — что о вас,
Пушкин и Лермонтов.

7

Страшно душе меж темнот и сует,
мечется странница.
В мире случайное имя «п о э т»
в Вечности славится.

К чуду бессуетной жизни готов,
в радость уверовав,
весь я в сиянии ваших стихов,
Пушкин и Лермонтов.

Путешествие к Гоголю

1

Как утешительно-тиха
и как улыбчиво-лукава
в лугов зеленые меха
лицом склоненная Полтава.

Как одеяния чисты,
как ясен свет., как звон негулок,
как вся для медленных прогулок,
а не для бешеной езды.

Здесь божья слава сердцу зрима.
Я с ветром вею, с Ворсклой льюсь.
Отсюда Гоголь видел Русь,
а уж потом смотрел из Рима...

Хоть в пенье радужных керамик,
в раю лошадок и цветов
остаться сердцем не готов,
у старых лип усталый странник,—

но так нежна сия земля
и так добра сия десница,
что мне до смерти будут сниться
Полтава, полдень, тополя.

Край небылиц, чей так целебен
спасенный чудом от обнов
реки, деревьев и домов
под небо льющийся молебен.

Здесь сердце Гоголем полно
и вслед за ним летит по склонам,
где желтым, розовым, зеленым
шуршит волшебное панно.

Для слуха рай и рай для глаза,
откуда наш провинциал,
напрягшись, вовремя попал
на праздник русского рассказа.

Не впрок пойдет ему отъезд
из вольнопесенных раздолий:
сперва венец и капитолий,
а там — безумие и крест.

Печаль полуночной чеканки
коснется дикого чела.
Одна утеха — Вечера
на хуторе возле Диканьки...

Немилый край, недобрый час,
на людях рожи нелюдские,—
и Пушкин молвит, омрачась:
— О Боже, как грустна Россия!..

Пора укладывать багаж.
Трубит и скачет Медный всадник
по душу барда. А пока ж
он — пасечник, и солнце — в садик.

И я там был, и я там пил
меда, текущие по хвое,
где об утраченном покое
поет украинский ампир...

2

А вдали от Полтавы, весельем забыт,
где ночные деревья угрюмы и шатки,
бедный-бедный андреевский Гоголь сидит
на собачьей площадке.

Я за душу его всей душой помолюсь
под прохладной листвой тополей и шелковиц,
но зовет его вечно Великая Русь
от родимых околиц.

И зачем он на вечные веки ушел
за жестокой звездой окаянной дорогой
из веселых и тихих черешневых сел,
с Украины далекой?

В гефсиманскую ночь не моли, не проси:
«Да минует меня эта жгучая чара» —
никакие края не дарили Руси
драгоценнее дара.

То в единственный раз через тысячу лет
на серебряных крыльях ночных вдохновений
в злую высь воспарил — не писательский, нет —
мифотворческий гений...

Каждый раз мы приходим к нему на поклон,
как приедем в столицу всемирной державы,
где он сиднем сидит и пугает ворон
далеко от Полтавы.

Опаленному болью, ему одному
не обидно ль, не холодно ль, не одиноко ль?
Я, как ласточку, сердце его подниму.
— Вы послушайте, Гоголь.

У любимой в ладонях из Ворсклы вода.
Улыбнитесь, попейте-ка самую малость.
Мы оттуда, где, ветрена и молода,
Ваша речь начиналась.

Кони ждут. Колокольчик дрожит под дугой.
Разбегаются люди — смешные козявки.
Сам Сервантес Вас за руку взял, а другой
Вы касаетесь Кафки.

Вам Италию видно. И Волга видна.
И гремит наша тройка по утренней рани.
Кони жаркие ржут. Плачет мать. И струна
зазвенела в тумане...

Он ни слова в ответ, ни жилец, ни мертвец.
Только тень наклонилась, горька и горбата,
словно с милой Диканьки повеял чебрец
и дошло до Арбата...

За овитое терньями сердце волхва,
за тоску, от которой вас Боже избави,
до полынной земли, Петербург и Москва,
поклонитесь Полтаве.

* * *

Поэт — что малое дитя.
Он верит женщинам и соснам,
и стих, написанный шутя,
как жизнь, священ и неосознан.

То громыхает, как пророк,
а то дурачится, как клоун,
Бог весть, зачем и для кого он
пойдет для будущего впрок.

Как сон, от быта отрешен,
и кто прочтет и чем навеян?
У древней тайны вдохновенья
напрасно спрашивать резон.

Но перед тем как сесть за стол
и прежде чем стихам начаться,
я твердо ведаю, за что
меня не жалует начальство.

Я б не сложил и пары слов,
когда б судьбы мирской горнило
моих висков не опалило,
души моей не потрясло.

* * *

О, дай нам Бог внимательных бессонниц,
чтобы каждый мог, придя под грубый кров,
как самозванец, вдруг с далеких звонниц
услышать гул святых колоколов.

Той мзды печаль укорна и старинна,
щемит полынь, прощает синева.
О брат мой Осип и сестра Марина,
спасибо вам за судьбы и слова.

О, трижды нет! Не дерзок я, не ловок,
чтоб звать в родню двух лир безродный звон.
У ваших ног, натруженных, в оковах,
я нищ и мал. Не брезгуйте ж родством.

Когда в душе, как благовест господний,
звучат стихи с воскреснувших страниц,
освободясь из дымной преисподней,
она лежит простершаяся ниц

и, слушая, наслушаться не может,
из тьмы чужой пришедшая домой,
и жалкий век, что ею в муках прожит,
не страшен ей, блаженной и немой.

И думает беглянка ниоткуда:
«Спасибо всем, кто дал мне их прочесть.
Как хорошо, что есть на свете Чудо,
хоть никому, хоть изредка, но есть.

А где их прах, в какой ночи овражной?
И ей известно ль, ведает ли он,
какой рубеж, возвышенный и страшный,
в их разобщенных снах запечатлен?

Пусть не замучит совесть негодяя,
но чуткий слух откликнется на зов...»
Так думает душа моя, когда я
не сплю ночей над истиной стихов.

О, ей бы так, на ангельском морозе б
пронзить собой все зоны и слои.
Сестра моя Марина, брат мой Осип,
спасибо вам, сожженные мои!

Спасибо вам, о грешные, о божьи,
в святых венцах веселий и тревог!
Простите мне, что я намного позже
услышал вас, чем должен был и мог.

Таков наш век. Не слышим и не знаем.
Одно словечко в Вечность обронив,
не грежу я высоким вашим раем.
Косноязычен, робок и ленив,

всю жизнь молюсь без имени и жеста,—
и ты, сестра, за боль мою моли,—
чтоб ей занять свое святое место
у ваших ног, нетленные мои.

Сонет Марине

За певчий бунт, за крестную судьбу,
по смертный миг плательщицу оброка,
да смуглый лоб, воскинутый высоко,
люблю Марину — Божию рабу.

Люблю Марину — Божия пророка
с грозой перстов, притиснутых ко лбу,
с петлей на шее, в нищенском гробу,
приявшу честь от родины и рока,

что в снах берез касалась горней грани,
чья длань щедра, а дух щедрее длани.
Ее тропа — дождем с моих висков,

ее зарей глаза мои моримы,
и мне в добро Аксаков и Лесков —
любимые прозаики Марины.

* * *

До могилы Ахматовой сердцем дойти нелегко —
через славу и ложь, стороной то лесной, то овражной,
по наследью дождя, по траве, ненадежной и влажной,
где печаль сентябрей собирает в полях молоко.

На могиле Ахматовой надписи нет никакой.
Ты к подножью креста луговые цветы положила,
а лесная земля крестный сон красотой окружила,
подарила сестре безымянный и светлый покой.

Будь к могиле Ахматовой, финская осень, добра,
дай бездомной и т а м не отвыкнуть от гордых привычек.
В рощах дятлы стучат, и грохочет тоской электричек
город белых ночей, город Пушкина, город Петра.

Облака в вышине обрекают злотворцев ее
на презренье веков, и венчаньем святого елея
дышат сосны над ней. И, победно и ясно белея,
вечно юн ее профиль, как вечно стихов бытие.

У могилы Ахматовой скорби расстаться пора
с горбоносой рабой, и, не выдержав горней разлуки,
к ней в бессмертной любви протянул запоздалые руки
город черной беды, город Пушкина, город Петра.



* * *

Жизнь — кому сыто, кому решето,—
всех не помилуешь.
В осыпь всеобщую Вас-то за что,
Осип Эмильевич?..

Памяти А. Твардовского

Вошло в закон, что на Руси
при жизни нет житья поэтам,
о чем другом, но не об этом
у черта за душу проси.

Но чуть взлетит на волю дух,
нислягут рученьки в черниле,
уж их по-царски хоронили,
за исключеньем первых двух.

Из вьюг, из терний, из оков,
из рук недобрых, мук немалых
народ над миром поднимал их
и бережно, и высоко.

Из лучших лучшие слова
он находил про опочивших,
чтоб у девчонок и мальчишек
сто лет кружилась голова.

На что был загнан Пастернак —
тихоня, бука, нечествивец,
а все ж бессмертью причастились
и на его похоронах...

Иной венец, иную честь,
Твардовский, сам себе избрал ты,
затем чтоб нам хоть слово правды
по-русски выпало прочесть.

Узнал, сердечный, каковы
плоды, что муза пожинала.
Еще лады, что без журнала.
Другой уйдет без головы.

Ты слег, о чуде не моля,
за все свершенное в ответе...
О, есть ли где-нибудь на свете
Россия — родина моя?

И если жив еще народ,
то почему его не слышно
и почему во лжи облыжной
молчит, дерьма набравши в рот?

Ведь одного его любя,
превыше всяких мер и правил,
ты в рифмы Теркина оправил,
как сердце вынул из себя.

И в зимний пасмурный денек,
устав от жизни многотрудной,
лежишь на тризне малолюдной,
как жил при жизни одинок.

Бесстыдство смотрит с торжеством.
Земля твой прах сыновний примет,
а там Маршак тебя обнимет,
«голубчик,— скажет,— с рождеством!..».

До кома в горле жаль того нам,
кто был эпохи эталоном —
и вот, унижен, слеп и наг,
лежал в гробу при орденах,

но с голодом неутоленным,—
на отпеванье потаенном,
куда пускали по талонам,
на воровских похоронах.

Сожаление

Я грех свячу тоской.
Мне жалко негодяев —
как Алексей Толстой
и Валентин Катаев.

Мне жаль их пышных дней
и суетной удачи:
их сущность тем бедней,
чем видимость богаче.

Их сок ушел в песок,
чтоб, к веку приспособясь,
за лакомый кусок
отдать талант и совесть.

Их светом стала тьма,
их ладом стала заметь,
но им палач — сама
тревожливая память.

Кто знает, сколько раз,
возвышенность утратив,
в них юность отреклась
от воздуха и братьев.

Как страшно быть шутом
на всенародных сценах —
и вызывать потом
безвинно убиенных.

(В них роскошь языка —
натаска водолея —
судила свысока
Платонова Андрея.

(О нем, чей путь тернист,
за чаркою растаяв,
«Какой же он стилист?» —
обмолвился Катаев.)

Мне жаль их все равно.
Вся мера их таланта —
известная давно
словесная баланда.

Им жарко от наград,
но вид у них отечен,
и щеки их горят
от призрачных пощечин.

Безжизненные пни,
разляписто-убоги,
воистину они —
знамение эпохи...

Я слезы лью о двух,
но всем им нет предела,
чей разложился дух
скорей, чем плоть истлела

и умерло Лицо,
себя не узнавая,
под трупною ленцой
льстеца и краснобая.

А. И. Солженицыну

Изрезан росписью морщин,
со лжою спорит Солженицын.
Идет свистеж по заграницам,
а мы обугленно молчим

и думаем: «На то и гений,
чтоб быть орудием добра,—
и слава пастырю пера,
не убоявшуся гонений!..»

В ночи слова теряют вес,
но чин писателя в России
за полстолетия впервые
он возвеличил до небес.

Чего еще ему бояться,
чьи книги в сейфах заперты,
кто стал опорой доброты
и ратником яснополянца,

кто, сроки жизни сократив,
раздавши душу без отдарства,
один за всех — на государство,
казенной воле супротив?

Упырствуют? А ты упорствуй
с ошметком вольности в горсти
и дружбой правнуков сласти
свой хлеб пророческий и черствый.

Лишь об одном тебя молю —
в пылу, боюсь, что запоздалом:
не поддавайся русохвалам,
на лесть гораздым во хмелю.

Не унимайся, сын землицын,
во лбы волнение вожги!
В Кремле артачатся вожди.
Творит в Рязани Солженицын!

И то беда, а не просчет,
что в скором времени навряд ли
слова, что бременем набрякли,
Иван Денисович прочтет.

Памяти друга

1

В чужих краях, в своей пещере,
в лесном краю, в машинном реве
с любовью думаем о Шере
Израилевиче Шарове,

об углубленье и наитье,
о тайновидце глуховатом,
кто видел зло в кровопролитье,
но шел по замети солдатом,

о жизни лешего, сгоревшей
в писательской заветной схиме
плеч о плеч с Гроссманом, с Олешей
и отлетевшими другими,

о книжнике и о бродяге,
на чьей душе кровоподтеки,
об Одиссее на Итаке
и одиночестве в итоге,

о той тоске, что, как ни кличь я,
всегда больна и безымянна,
о беззащитности величья
и обреченности обмана,

о красоте, что не крылата,
но чьей незримостью спасутся,
сокрытой в черепе Сократа,
в груди испанского безумца,

о грустной святости попоек,
о крыльях, прошумевших мимо,
и — двое нас — о вас обоих
отдельно и неразделимо,

о все же прожитой не худо,
о человеке как о чуде,
а кто не верит в это чудо,
подите с наше покочуйте.

Пока сердца не обветшали,
грустя, что видимся нечасто,
мы пьем вино своей печали
за летописца и фантаста.

К Москве протягивая руки,
в ознобе гордости и грусти
сквозь слезы думаем о друге
в своем бетонном захолустье.

2

Но лишь тогда в Начале будет Слово,
когда оно готово Богом стать,—
вот почему писателя Шарова
пришла пора, открыв, перечитать.

Он в смене зорь, одна другой румянче,
средь коротыг отмечен вышиной,
был весь точь-в-точь как воин из Ламанчи,
печальный, добрый, мудрый и смешной.

В таком большом как веку не вместиться?
Такую боль попробуй потуши!
Ему ж претит словесное бесстыдство —
витийский хмель расхристанной души.

Он тем высок, что в сказку быль впряглась им,
что он, глухарь, знал тысячи утрат,
но и в быту возвышенно прекрасен,
в углу Москвы укрывшийся Сократ.

Зато и нам не знать мгновений лучших,
чем те, когда — бывало, повезет —
и к нам на миг его улыбки лучик
слетал порой с тоскующих высот...

Вот он на кухне в россказнях вечерних
сидит, ногою ногу оплетя,

писатель книг, неведомый волшебник,
в недобрый мир забредшее дитя.

Как принц из сказки, робок и огромен,
хоть нет на лбу короны золотой,
и не чудно ль, что мы его хороним,
а он, как свет, над нашей суетой?

И больно знать, что, так и не дождавшись,
наставших дней душа его ждала,—
так хоть теперь с нее снимите тяжесть,
пустите в жизнь из ящиков стола!

Галичу

Когда с жестокостью и ложью
больным годам не совладать,
сильней тоска по царству Божью,
недостижимей благодать.

Взъярясь на вралищах гундосых,
пока безмолвствует народ,
пророк откладывает посох,
гитару в рученьки берет.

О как в готовность ждущих комнат
его поющий голос вхож!
И что с того, что он, такой вот,
на мученика не похож?

Да будь он баловень и бабник,
ему от песен нет защит,
когда всей родины судьба в них,
завороженная, звучит.

Его из лирики слепили,
он вещей болью одарен
и веку с дырами слепыми
назначен быть поводырем.

Ему б на площадь, да поширше,
а он один, как свет в ночи,
а в нем менты, а в нем кассирши,
поэты, психи, палачи.

Еще ль, голубчики, не все тут?
О, как мутится ум от кар!..
В какие годы голос этот,
один за всех, не умолкал!

Как дикий бык, склоняя выю,
измучен волею Творца,
он сеет светлую Россию
в испепеленные сердца.

Он судит пошлость и надменность,
и потешается над злом,
и видит мертвыми на дне нас,
и чует на сердце надлом.

И замирает близь и да́лечь
в тоске несбывшихся времен,
и что для жизни значит Галич,
мы лишь предчувствуем при нем.

Он в нас возвысил и восполнил
что было низко и мертво.
На грозный спрос в суде Господнем
ответим именем его.

И нет ни страха, ни позерства
под вольной пушкинской листвой.
Им наше время не спасется,
но оправдается с лихвой.

Посмертная благодарность А. А. Галичу

Чем сердцу русскому утешиться?
Кому печаль свою расскажем?
Мы все рабы в своем отечестве,
но с революционным стажем.

Во лжи и страхе как ни бейся я,
а никуда от них не денусь.
Спасибо, русская поэзия:
ты не покинула в беде нас.

В разгар всемирного угарища,
когда в стране царили рыла,
нам песни Александра Галича
пора абсурдная дарила.

Теперь, у сердца бесконвойного
став одесную и ошую,
нам говорят друзья покойного,
что он украл судьбу чужую.

Я мало знал его, и с вами я
о сем предмете не толкую —
но надо ж Божие призвание,
чтоб выбрать именно такую!

Возможно ли по воле случая,
испив испуг смерторежимца,
послав к чертям благополучие,
на подвиг певческий решиться?

Не знаю впредь, предам ли, струшу ли:
страна у нас передовая,—
но как мы песни эти слушали,
из уст в уста передавая!

Как их боялись — вот какая вещь —
врали, хапужники, невежды!
Спасибо, Александр Аркадьевич,
от нашей выжившей надежды.

На могиле Волошина

Я был на могиле поэта,
где духу никто не мешал,
в сиянии синего света,
на круче Кучук-Енишар.

В своем настоящем обличье
там с ветром парил исполин —
родня Леонардо да Винчи
и добрый вещун из былин.

Укрывшись от бурь и от толков
с наивной и мудрой мольбой,
он эти края для потомков
обжил и наполнил собой.

Гражданские грозы отринув,
язычески рыжеборол,
увидел в девчонке — Марину
и благословил на полет.

Художник, пророк и бродяга,
незримой земли властелин,
у вскинутых скал Карадага
со всеми свой рай разделил...

Со всей потаенной России
почтить его гордый покой
мерещились тени другие,
завидуя тризне такой.

Но пели усталые кости,
вбирая гремучий бальзам,
о том, что разъехались гости
и не было счастья друзьям.

На солнце кусты обгорели,
осенние бури лихи...
Не меркнут его акварели,
у сердца не молкнут стихи.

И я в этом царстве вулканьем,
с велением сердца в ладу,
ему на обветренный камень
угрюмые строки кладу.

Пожил богатырь да поездил
да дум передумал в тиши.
Превыше побед и поэзий
величие чистой души.

У туч оборвалась дорога.
Вернулся на берег Садко.
Как вовремя... Как одиноко...
Как ветрено... Как высоко...

Памяти Грина

> Шесть русских прозаиков, которых я взял бы с собой в пустыню, это: Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов, Пришвин и — Александр Грин.

Какой мне юный мир на старость лет подарен!
Кто хочешь приходи — поделим пополам.
За верность детским снам о как я благодарен
Бегущей по волнам и Алым парусам.

На русском языке по милости Аллаха
поведал нам о них в недавние лета
кабацкий бормотун, невдалый бедолага,
чья в эту землю плоть случайно пролита.

Суди меня, мой свет, своей улыбкой темной,
жеватель редких книг по сто рублей за том:
мне снится в добрый час тот сказочник бездомный,
небесную лазурь пронесший сквозь содом.

Мне в жизни нет житья без Александра Грина.
Он с луком уходил пасти голодный год
в языческую степь, где молочай и глина,
его средь наших игр мутило от нагот.

По камушкам морским он радости учился,
весь застлан синевой,— уж ты ему прости,
что в жизни из него моряк не получился,
умевшему летать к чемушеньки грести,

что не был он похож на доброго фламандца,
смакующего плоть в любезной духоте,
но, замкнут и колюч,— куда ему сравняться
в приятности души с Антошей Чехонте.

Упрямец и молчун, угрюмо пил из чаши
и в толк никак не брал, почто мы так горды,
как утренняя тень он проходил сквозь наши
невнятные ему застолья и труды.

С прозрения по гроб он жаждал только чуда,
всю жизнь он прожил т а м и ни минуты з д е с ь,
а нам и невдомек, что был он весь ОТТУДА,
младенческую боль мы приняли за спесь.

Ни родины не знал, ни в Индии не плавал,
ну лакомка, ну враль, бродяга и алкаш,—
а ты игрушку ту, что нам подсунул дьявол,
рассудком назовешь и совесть ей отдашь.

А ты всю жизнь стоишь перед хамлом навытяж,
и в службе смысла нет, и совесть не грызет,
и все пройдет как бред, а ты и не увидишь,
как солнышко твое зайдет за горизонт...

Наверно, не найти средь русских захолустий
отверженней глуши, чем тихий Старый Крым,
где он нашел приют своей сиротской грусти,
за что мы этот край ни капли не корим.

От бардов и проныр в такую даль заброшен,—
я помню, как теперь,— изглодан нищетой,
идет он в Коктебель, а там живет Волошин,—
о хоть бы звук один сберечь от встречи той!

Но если станет вдруг вам ваша жизнь полынна,
и век пахнёт чужим, и кров ваш обречен,
послушайтесь меня, перечитайте Грина,
вам нечего терять, не будьте дурачьем.

Паустовскому

Не уподобившись волхвам,
не видя света из-за марева,
я опоздал с любовью к Вам
на полстолетия без малого.

Но что ни год от Ваших чар
все чаще на душу — о Боже мой —
нисходит светлая печаль
и свежесть вести неопошленной.

На море Черном, на Оке ль
мне Ваше слышится дыхание,—
седого юношества хмель
с годами все благоуханнее.

Места, что были Вам милы,
и я люблю безоговорочно:
святое из житейской мглы
выходит ярко и осколочно,—

и тех осколков чистота
все светоносней и нетленнее.
О Боже, как юна мечта
и как старо осуществление!

Мир дышит лесом и травой
как бы в прозрачности предутренней,—
нет зренья в прозе мировой
восторженней и целомудренней.

И мне светлее оттого,
что в скуке ль будня, в блеске ль праздника
я столько раз ни одного
не перечитываю классика.

С. Славичу

Живет себе в Ялте прозаик,
сутулый и рыжий на вид.
Ему бы про рыб да про чаек,
а он про беду норовит.

Да это ж мучение просто,
как весь он тревогой набряк,
худущий да длинного роста,
смешной и печальный добряк.

Приучен войной к просторечью,
к тяжелым и личным словам,
он все про тоску человечью,
про судьбы солдатские вам.

Есть чудо — телесная мякоть
рассказа, где с первой строки
ты будешь смеяться, и плакать,
и молча сжимать кулаки,

и с верой дурацкой прощаться,
и пить из отравленных чаш.
И к этому чуду причастен
прозаик чахоточный наш.

Он в Ялту приехал с морозца,
он к морю пришел наугад.
Удача ему не смеется.
Печатать его не хотят.

Я с ним не живал по соседству —
и чем бы порадовать смог
за то, что пришелся по сердцу
его невозвышенный слог?..

Мудрец о судьбе не хлопочет,
не ищет напрасных забот,
и сам продаваться не хочет,
и в спорах ума не пропьет.

Жена у него и сынишка,
а он свои повести — в стол,
до лучшего часа, и, слышь-ка,
опять с рыбаками ушел.

Он ходит по Крыму, прослыв там
у дельных людей чудаком,
не то доморощенным Свифтом,
не то за душой ходоком...

Житье непутевое это
пришлось бы и мне по плечу,
да темной судьбою поэта
меняться ни с кем не хочу.

Защита поэта

И средь детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Пушкин

С детских лет избегающий драк,
чтящий свет от лампад одиноких,
я — поэт. Мое имя — дурак.
И бездельник, по мнению многих.

Тяжек труд мне и сладостен грех,
век мой в скорби и праздности прожит,
но, чтоб я был ничтожнее всех,
в том и гений быть правым не может.

И хоть я из тех самых зануд,
но, за что-то святое жалея,
есть мне чудо, что Лилей зовут,
с кем спасеннее всех на земле я.

Я — поэт, и мой воздух — тоска,
можно ль выжить, о ней не поведав?
Пустомель — что у моря песка,
но как мало у мира поэтов.

Пусть не мед — языками молоть,
на пегасиках ловких процокав
под казенной уздой, но Господь
возвещает устами пророков.

И, томим суетою сует
и как Бога зовя вдохновенье,
я клянусь, что не может поэт
быть ничтожным хотя б на мгновенье.

Соловей за хвалой не блестит.
Улыбнись на бесхитростность птичью.
Надо все-таки выпить за стыд,
и пора приучаться к величью.

Светлый рыцарь и верный пророк,
я пронизан молчанья лучами.
Мне опорою Пушкин и Блок.
Не равняйте меня с рифмачами.

Пусть я ветрен и робок в миру́,
телом немощен, в куче бессмыслен,
но, когда я от горя умру,
буду к лику святых сопричислен.

Я — поэт. Этим сказано все.
Я из времени в Вечность отпущен.
Да пройду я босой, как Басё,
по лугам, стрекозино поющим.

И, как много столетий назад,
просветлев при божественном кличе,
да пройду я, как Данте, сквозь ад
и увижу в раю Беатриче.

И с возлюбленной взмою в зенит,
и от губ отрешенное слово
в воскрешенных сердцах зазвенит
до скончания века земного.

За Надсона

Друг человечества...

Пушкин

А и слава и смерть ходят по свету в разных обличьях.
Тяжело умирать двадцати пяти от роду лет.
Заступитесь за Надсона, девять крылатых сестричек,
подтвердите в веках, что он был настоящий поэт.

Он не тратил свой дар на безделки — пустышки мирские,
отзываясь душой лишь на то, что важнее всего,
в двадцать лет своих стал самым нужным певцом у России,
вся Россия в слезах провожала в могилу его.

Я там был, я там был, на могиле на той в Ленинграде...
О, верни его, родина, в твой героический круг,
возлюби его вновь и прости, и прости, Бога ради,
то, что не был пророком, а был человечества друг.

Я люблю его стих и с судом знатоков не согласен.
Заступись за него, галилейская девочка-Мать:
он, как сын твой Исус, так мучительно юн и прекрасен,
а что дар не дозрел — так ведь было ж всего двадцать пять.

Ведь не ждать же ему, не таить же врученный светильник,—
вот за это за все и за то, что по паспорту жид,
я держу его имя в своих заповедных святынях
и храню от обид, как хранить его всем надлежит.

* * *

Больная черепаха —
ползучая эпоха,
смотри: я — горстка праха,
и разве это плохо?

Я жил на белом свете
и даже был поэтом,—
попавши к миру в сети,
раскаиваюсь в этом.

Давным-давно когда-то
под песни воровские
я в звании солдата
бродяжил по России.

Весь тутошний, как Пушкин
или Василий Теркин,
я слушал клеп кукушкин
и верил птичьим толкам.

Я — жрец лесных религий,
мне труд — одна морока,
по мне и Петр Великий
не выше скомороха.

Как мало был я добрым
хоть с мамой, хоть с любимой,
за что и бит по ребрам
судьбиной, как дубиной.

В моей дневной одышке,
в моей ночи бессонной
мне вечно снятся вышки
над лагерною зоной.

Не верю в то, что руссы
любили и дерзали.
Одни врали и трусы
живут в моей державе.

В ней от рожденья каждый
железной ложью мечен,
а кто измучен жаждой,
тому напиться нечем.

Вот и моя жаровней
рассыпалась по рощам.
Безлюдно и черно в ней,
как в городе полнощном.

Юродивый, горбатенький,
стучусь по белу свету —
зову народ мой батенькой,
а мне ответа нету.

От вашей лжи и люти
до смерти не избавлен,
не вспоминайте, люди,
что был я Чичибабин.

Уже не быть мне Борькой,
не целоваться с Лилькой,
опохмеляюсь горькой.
Закусываю килькой.

* * *

Дай вам Бог с корней до крон
без беды в отрыв собраться.
Уходящему — поклон.
Остающемуся — братство.

Вспоминайте наш снежок
посреди чужого жара.
Уходящему — рожок.
Остающемуся — кара.

Всяка доля по уму:
и хорошая, и злая.
Уходящего — пойму.
Остающегося — знаю.

Край души, больная Русь,—
перезвонность, первозданность
(с уходящим — помирюсь,
с остающимся — останусь) —

дай нам, вьюжен и ледов,
безрассуден и непомнящ,
уходящему — любовь,
остающемуся — помощь.

Тот, кто слаб, и тот, кто крут,
выбирает каждый между:
уходящий — меч и труд,
остающийся — надежду.

Но в конце пути сияй
по заветам Саваофа,
уходящему — Синай,
остающимся — Голгофа.

Я устал судить сплеча,
мерить временным безмерность.
Уходящему — печаль.
Остающемуся — верность.

* * *

Не веря кровному завету,
что так нельзя,
ушли бродить по белу свету
мои друзья.

Броня державного кордона —
как решето.
Им светит Гарвард и Сорбонна,
да нам-то что?

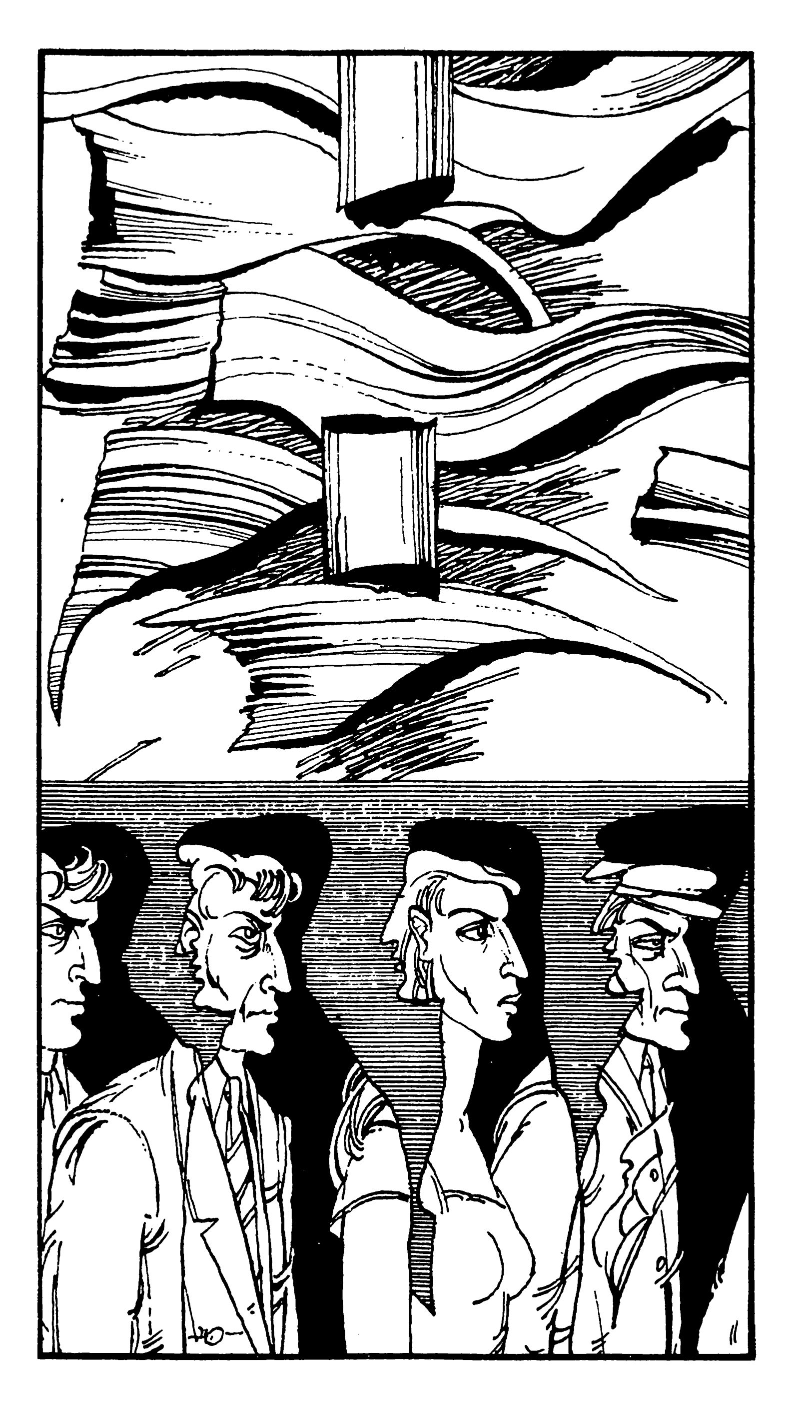
Пусть будут счастливы, по мне, хоть
в любой дали,—
но всем живым нельзя уехать
с живой земли.

С той, чья судьба еще не стерта
в ночах стыда,
а если с мертвой, то на черта
и жить тогда?..

Я верен тем, кто остается
под бражный треп
свое угрюмое сиротство
нести по гроб,

кому обещаны допросы
и лагеря,
но сквозь крещенские морозы
горит заря.

Нам не дано, склоняя плечи
под ложью дней,
гадать, кому придется легче,
кому трудней.



Пахни ж им снегом и сиренью,
чума-земля.
Не научили их смиренью
учителя.

В чужое зло метнула жизнь их,
с пути сведя,
и я им, дальним, не завистник
и не судья.

Пошли им, Боже, легкой ноши,
прямых дорог,
и добрых снов на злое ложе
пошли им впрок.

Пускай опять обманет демон,
сгорит свеча,—
но только б знать, что выбор сделан
не сгоряча.

* * *

Стою за правду в меру сил,
да не падет пред ложью ниц она.
Как одиноко на Руси
без Галича и Солженицына.

* * *

Из глаз — ни слезинки, из горла — ни звука.
Когтями по сердцу — собака-разлука.

А пала дорога, последняя в мире,
бессрочней острога, бескрайней Сибири.

Уже не помогут ни рощи, ни реки,
чтоб нам не расстаться на вечные веки.

За дебри и зори уводит дорога,
страшнее любого тюремного срока.

Заплачет душа по зеленому шуму,
но поздно впотьмах передумывать думу.

Мы вызубрим ад до последнего круга,
уже никогда не увидев друг друга.

Прощайте ж навеки и знайте, уехав,
что даже не Пушкин, не Блок и не Чехов,

не споры ночные, не дали речные,
не свет и не память — ничто не Россия.

Забудьте на воле наш холод холуйский,
но лучшее в доле зовите по-русски.

Себе во спасенье и нам во спасенье
храните России заветное семя.

Тряхните над миром сумой переметной,
авось разрастется росток перелетный.

Не снежная заметь, не зовы лесные —
России не занять, вы сами — Россия.

Запомните это для горестных буден,
да нас не забудьте, как мы не забудем.

Храните звучанье, ищите значенье.
А все остальное — мираж и мученье,

крутое решенье, кромешная мука,
чтоб сердце до крови изгрызла разлука.

Носите до гроба свою беззащитность —
свободу, которой ничто не лишит нас.

Вы сами — Россия, вы — семя России.
Да светят вам в горе веселья простые.

* * *

Опять я в нехристях, опять
меня склоняют на собраньях,
а я и так в летах неранних,
труд лишний под меня копать.

Не вправе клясть отчаянный выезд,
несу как крест друзей отъезд.
Их Бог не выдаст — черт не съест,
им отчий стыд глаза не выест.

Один в нужде скорблю душой,
молчу и с этими и с теми,—
уж я-то при любой системе
останусь лишний и чужой.

Дай Бог свое прожить без фальши,
мой срок без малого истек,
и вдаль я с вами не ездок:
мой жданный путь намного дальше.

Былина про Ермака

Ангел русской земли, ты почто меня гнешь и караешь?
Кто утешит мой дух, если в сердце печаль велика?
О, прости меня, Пушкин, прости меня, Лев Николаич,
я сегодня пою путеводную длань Ермака.

Бороде его — честь и очам его — вечная память,
и бессмертие — краю, что кровью его орошен.
Там во мшанике ночь и косматому дню не шаманить
над отшельничьим тем, над несбывшимся тем шалашом.

Отшумело жнивье, а и славы худой не избегло,
было имя как стяг, а пошло дуракам на пропой,
и смирна наша прыть, и на званую волю из пекла
не дано нам уплыть атамановой пенной тропой.

Время кружит в ночи смертоносно-незримые кружна,
с православного древа за плодом срывается плод.
Что Москва, что мошна — перед ними душа безоружна,
а в сибирском раю — ни опричников, ни воевод.

Две медведицы в лапах несут в небеса семисвечья,
и смеется беглец, что он Богу не вор и не тать.
Между зверем и древом томится душа человечья
и тоскует, как барс, что не может березонькой стать.

— Сосчитай, грамотей, сколько далей отмерено за день.
А что было — то было, то в зорях сгорело дотла.
Пейте брагу, рабы, да не врите, что я кровожаден,
вам ни мраку, ни звезд с моего кругового котла...

Мы пируем уход, смоляные ковши осушая,
и кедровые кроны звенят над поверженным злом.
Это — русские звоны, и эта земля — не чужая,
колокольному звону ответствует гусельный звон...

А за кручами — Русь, и оттуда — ни вести, ни басни,
а что деется там, не привидится злыдню во сне:
плахи, колья, колесы; клубятся бесовские казни,
с каждой казнью деньжат прибывает в царевой казне.

Так и пляшет топор, без вины и без смысла карая,
всюду трупы да гарь, да еще воронье на снегу,
и князь Курбский тайком отъезжает из отчего края,
и отъезд тот во грех я помыслить ему не могу.

Можно ль выстоять трону, сыновнею кровью багриму?
И на этой земле еще можно ль кого-то любить?
Льется русская кровь по великому Третьему Риму,
поелику вовеки четвертому Риму не быть...

А Ермак — на лугу, он для правнуков ладит садыбу,
он прощает врагу и для праздников мед бережет,
в скоморошьей гульбе он плюет на Малютину дыбу
и беде за плечами не тщится вести пересчет.

К Ермаковым ногам подкатился кедровый рогачик,
притулилась жар-птица, приластилась тьма из болот.
Ни зверью он не враг, ни чужого жилья не захватчик,
а из божьих даров только волю одну изберет.

Под великой рекой он веселую голову сложит,
а заплачет другой, кто родится с похожей душой,
а тропы уже нет, потому что он сроду не сможет
ни обиды стерпеть, ни предаться державе чужой.

Из ковша Ермака пили бражники и староверы,
в белокрылых рубахах на грудь принимали врага,
а исполнив оброк, уходили в скиты и пещеры,
но и в райских садах им Россия была дорога.

Хорошо Ермаку. Не зазря он мне снился на Каме...
Над моей головой вместо неба нависла беда,
пали гусли из рук, расступается твердь под ногами,
но — добыта Сибирь,— и уже не уйти никуда.

* * *

Марленочка, не надо плакать,
мой друг большой.
Все — суета, все — тлен и слякоть,
живи душой.

За место спорят чернь и челядь.
Молчит мудрец.
Увы, ничем не переделать
людских сердец.

Забыв свое святое имя,
прервав полет,
они не слышат, как над ними
орган поет...

Не пощадит ни книг, ни фресок
безумный век.
И зверь не так жесток и мерзок,
как человек.

Прекрасное лицо в морщинах,
труды и хворь,—
ты прах — и с тем, кто на вершинах,
вотще не спорь.

Все мрачно так, хоть в землю лечь нам,
над бездной путь.
Но ты не временным, а вечным
живи и будь...

Сквозь адский спор добра и худа,
сквозь гул и гам,
как нерасслышанное чудо,
поет орган.

И божий мир красив и дивен
и полон чар,
и, как дитя, поэт наивен,
хоть веком стар.

Звучит с небес Господня месса,
и ты внизу
сквозь боль услышь ее, засмейся,
уйми слезу.

Поверь лишь в истину, а флагам
не верь всерьез.
Придет пора — и станет благом
что злом звалось...

Пошли ж беду свою далече,
туман рассей,
переложи тоску на плечи
твоих друзей.

Ни в грозный час, ни в час унылый,
ни в час разлук
не надо плакать, друг мой милый,
мой милый друг.

* * *

Не от горя и не от счастья,
не для дела, не для парада
попросил хоть на малый час я
у судьбы тишины и лада.

И не возраст тому причиной,
он не повод для величанья,
но не первой моей морщиной
заслужил я черед молчанья.

Я хотел, никого не видя,
всех людей полюбить, как братьев,
а они на меня в обиде,
высоту тишины утратив.

Все мы с гонором, а посмотришь —
все сквалыжны в своей скворешне,
и достоин веселья тот лишь,
кто забыл о горячке прежней.

Желт мой колос, и оттого-то
я меняю для звездной жатвы
сумасшествие Дон Кихота
на спокойствие Бодисатвы.

Одного я хочу отныне:
ускользнув от любой опеки,
помолиться в лесной пустыне
за живущих в двадцатом веке.

И одна лишь тоска у сердца,
и не в радость ни куш, ни бляха,—
чтоб на поздней траве усесться
у колен Себастьяна Баха.

Был бы Пушкин, да был бы Рильке,
да была б еще тень от сосен,—
а из бражников, кроме Лильки,
целый мир для меня несносен.

Сколько раз моя жизнь ломалась
до корней, и за все такое
в кой-то век попросил хоть малость
одиночества и покоя.

Я ушел бы, ни с кем не споря,
чтоб не слушать хмельные речи,
с мудрой книгой на берег моря,
обнимая тебя за плечи.

Чтоб деревья шумели, дыбясь,
пела речка на радость эху
и, как братья, Толстой и Диккенс
перешептывались не к спеху.

Ничьего не ищу участья,
ничего мне от звезд не надо,
лишь прошу хоть на малый час я
у судьбы тишины и лада.

* * *

О, когда ж мы с тобою пристанем
к островам с ворожбой и блистаньем,
где родная душе тишина
нежным холодом опушена?

У себя на земле, к сожаленью,
мы прозрели божественной ленью
и не верим небесным дарам
под мучительный трам-тарарам.

Т а м стоят снеговые хоромы,
с ночи полные света и дремы,
и поземка в потемках шалит,
как безумное сердце Лилит.

С первым солнышком выйдем из дому
побродить по снежку молодому.
Дальний блеск, белизна, благодать,—
а нельзя ничего передать.

С добрым утром, царевна Ворона!
Где твоя золотая корона?
Черный бархат на белом снегу
никому подарить не смогу...

Напои ж нас грозо́вым бальзамом,
зимний рай, где остаться нельзя нам,
потому что и с музыкой зим
неизбежностью души казним.

* * *

Деревья бедные, зимою черно-голой
что снится вам на городском асфальте?
Сквозь сон услышьте добрые глаголы,
моим ночам свою беду оставьте.

Взмахнув ветвями, сделайтесь крылаты,
летите в Крым, где хорошо и южно,
где только жаль, что не с моей зарплаты,
а то и нам погреться было б нужно.

Морозы русские, вы злее, чем монголы,
корней не рушьте, сквозь кору не жальте...
Что может сниться вам зимою черно-голой,
деревья бедные, на городском асфальте?

Херсонес

Какой меня ветер занес в Херсонес?
На многое пала завеса,
но греческой глины могучий замес
удался во славу Зевеса.

Кузнечики славы обжили полынь,
и здесь не заплачут по стуже —
кто полон видений бесстыжих богинь
и верен печали пастушьей.

А нас к этим скалам прибила тоска,
трубила бессонница хрипло,
но здешняя глина настолько вязка,
что к ней наше горе прилипло.

Нам город явился из царства цикад,
из желтой ракушечной пыли,
чтоб мы в нем, как в детстве, брели наугад
и нежно друг друга любили...

Подводные травы хранят в себе йод,
упавшие храмы не хмуры,
и лира у моря для мудрых поет
про гибель великой культуры...

В изысканной бухте кончалась одна
из сказок Троянского цикла.
И сладкие руки ласкала волна,
как той, что из пены возникла.

И в прахе отрытом всё виделись мне
дворы с миндалем и сиренью.
Давай же учиться у желтых камней
молчанью мечты и смиренью.

Да будут нам сниться воскресные сны
про край, чья душа синеока,
где днища давилен незримо красны
от гроздей истлевшего сока.

* * *

Еще недавно ты со мной,
два близнеца в страде земной,
молились морю с Карадага.
Над гулкой далью зрел миндаль,
мой собеседник был Стендаль,
а я был радостный бродяга.

И мир был только сотворен,
и белка рыжим звонарем
над нами прыгала потешно.
Зверушка, шишками шурша,
видала, как ты хороша,
когда с тебя снята одежда.

Водою воздух голубя,
на обнаженную тебя
смотрела с нежностью Массандра,
откуда мы, в конце концов,
вернулись в горький край отцов,
где грусть оставили на завтра.

Вся жизнь с начала начата,
и в ней не видно ни черта,
и распинает нищета
по обе стороны креста нас,—
и хочется послать на «ё»
народолюбие мое,
с которым все же не расстанусь.

Звезда упала на заре,
похолодало на дворе,
и малость мальская осталась:
связать начала и концы,
сказать, что все мы мертвецы,
и чаркой высветлить усталость.

Как ни стыжусь текущих дней,
быть сопричастником стыдней,—

ох, век двадцатый, мягко стелешь!
Освобождаюсь от богов,
друзей меняю на врагов
и радость вижу в красоте лишь.

Ложь дня ко мне не приросла.
Я шкурой вызнал силу зла,
я жил, от боли побелевший,
но злом дышать невмоготу
тому, кто видел наготу
твою на южном побережье.

Судакские элегии

1

Когда мы устанем от пыли и прозы,
пожалуй, поедем в Судак.
Какие огромные белые розы
там светят в садах.

Деревня — жаровня. А что там акаций!
Каменья, маслины, осот...
Кто станет от солнца степей домогаться
надменных красот?

Был некогда город алчбы и торговли
со стражей у гордых ворот,—
но где его стены и где его кровли?
И где его род?

Лишь дикой природы пустынный кусочек,
смолистый и выжженный край.
От судей и зодчих остался песочек —
лежи загорай.

Чу, скачут дельфины! Вот бестии. Ух ты,
как пляшут! А кто ж музыкант?
То розовым заревом в синие бухты
смеется закат.

На лицах собачек, лохматых и добрых,
веселый и мирный оскал,
и щелкают травы на каменных ребрах
у скаредных скал.

А под вечер ласточки вьются на мысе
и пахнет полынь, как печаль.
Там чертовы кручи, там грозные выси
и кроткая даль.

Мать-Вечность царит над нагим побережьем,
и солью горчит на устах,
и дремлет на скалах, с которых приезжим
сорваться — пустяк.

Одним лишь изъяном там жребий плачевен
и нервы катают желвак:
в том нищем раю не хватает харчевен
и с книгами — швах.

На скалах узорный оплот генуэзцев,
тишайшее море у ног,
да только в том месте я долго наесться,
голодный, не мог.

А все ж, отвергая житейскую нехоть —
такой уж я сроду чудак,—
отвечу, как спросят «куда нам поехать?»:
езжайте в Судак.

2

Настой на снах в пустынном Судаке...
Мне с той землей не быть накоротке,
она любима, но не богоданна.
Алчак-Кая, Солхат, Бахчисарай...
Я понял там, чем стал Господень рай
после изгнанья Евы и Адама.

Как непристойно Крыму без татар.
Шашлычных углей лакомый угар,
заросших кладбищ надписи резные,
облезлый ослик, движущий арбу,
верблюжесть гор с кустами на горбу,
и все кругом — такая не Россия.

Я проходил по выжженным степям
и припадал к возвышенным стопам
кремнистых чудищ, див кудлатоспинных.
Везде, как воздух, чуялся Восток —
пастух без стада, светел и жесток,
одетый в рвань, но с посохом в рубинах.

Который раз, не ведая зачем,
я поднимался лесом на Перчем,

где прах мечей в скупые недра вложен,
где с высоты Георгия монах
смотрел на горы в складках и тенях,
что рисовал Максимильян Волошин.

Буддийский поп, украинский паныч,
в Москве француз, во Франции москвич,
на стержне жизни мастер на все руки,
он свил гнездо в трагическом Крыму,
чтоб днем и ночью сердце рвал ему
стоперстый вопль окаменелой муки.

На облаках бы — в синий Коктебель.
Да у меня в России колыбель
и не дано родиться по заказу,
и не пойму, хотя и не кляну,
зачем я эту горькую страну
ношу в крови как сладкую заразу.

О, нет беды кромешней и черней,
когда надежда сыплется с корней
в соленый сахар мраморных расселин
и только сердцу снится по утрам
угрюмый мыс, как бы индийский храм,
слетающий в голубизну и зелень...

Когда, устав от жизни деловой,
упав на стол дурною головой,
забьюсь с питвом в какой-нибудь клоповник,
да озарит печаль моих поэм
полынный свет, покинутый эдем —
над синим морем розовый шиповник.

Чуфут-Кале по-татарски значит «иудейская крепость»

Твои черты вечерних птиц безгневней
зовут во мгле.
Дарю тебе на память город древний —
Чуфут-Кале.

Как сладко нам неслыханное имя
назвать впервой.
Пускай шумит над бедами земными
небес травой.

Недаром ты протягивала ветки
свои к горам,
где смутным сном чернелся город ветхий,
как странный храм.

Не зря вослед звенели птичьи стаи,
как хор светил,
и Пушкин сам наш путь в Бахчисарае
благословил.

Мы в горы шли, сияньем души вымыв,
нам было жаль,
что караваны беглых караимов
сокрыла даль.

Чуфут пустой, как храм над пепелищем,
Чуфут ничей,
и, может быть, мы в нем себе отыщем
приют ночей.

Тоска и память древнего народа
к нему плывут,
и с ними мы сквозь южные ворота
вошли в Чуфут.

Покой и тайна в каменных молельнях,
в дворах пустых.
Звенит кукушка, пахнет можжевельник,
быть хочет стих.

В пустыне гор, где с крепостного вала
обзор широк,
кукушка нам беду накуковала
на долгий срок.

Мне — камни бить, тебе — нагой метаться
на тех холмах,
где судит судьбы чернь магометанства
в ночных чалмах,

где нам не даст и вспомнить про свободу
любой режим,
затем что мы к затравленному роду
принадлежим.

Давно пора не задавать вопросов,
бежать людей.
Кто в наши дни мечтатель и философ,
тот иудей.

И, ни бедой, ни грустью не поборот
в житейской мгле,
дарю тебе на память чудный город —
Чуфут-Кале.

* * *

Пребываю безымянным.
Час явленья не настал.
Гениальным графоманом
Межиров меня назвал.

Называй кем хочешь, Мастер.
Нету горя, кроме зла.
Я иду с Парнасом на спор
не о тайнах ремесла.

Верам, школам, магазинам
отрицание неся,
не могу быть веку сыном,
а пустынником — нельзя.

В желтый стог уткнусь иголкой,
чем совать добро в печать.
Пересыльный город Горький,
как Вас нынче величать?

Под следящим волчьим оком,
под недобрую молву
на ковчеге колченогом
сквозь гражданственность плыву.

Бьется крыльями Европа —
наша немочь и родня —
из всемирного потопа
и небесного огня.

Сядь мне на сердце, бедняжка,
припади больным крылом.
Доживать свое нетяжко:
все прекрасное — в былом.

Мне и слова молвить не с кем,
тает снегом на губах.
Не болтать же с Достоевским,
если был на свете Бах.

Тайных дум чужим не выдам,
а свои — на все плюют.
Между Вечностью и бытом
смотрит в небо мой приют.

Три свечи горят на тризне,
три моста подожжены.
Трех святынь прошу у жизни:
Лили, лада, тишины.

* * *

Сбылась беда пророческих угроз,
и темный век бредет по бездорожью.
В нем естество склонилось перед ложью
и бренный разум душу перерос.

Явись теперь мудрец или поэт,
им не связать рассыпанные звенья.
Все одиноки — без уединенья.
Все — гром, и смрад, и суета сует.

Ни доблестных мужей, ни кротких жен,
а вещий смысл тайком и ненароком...
Но жизни шум мешает быть пророком,
и без того я странен и смешон.

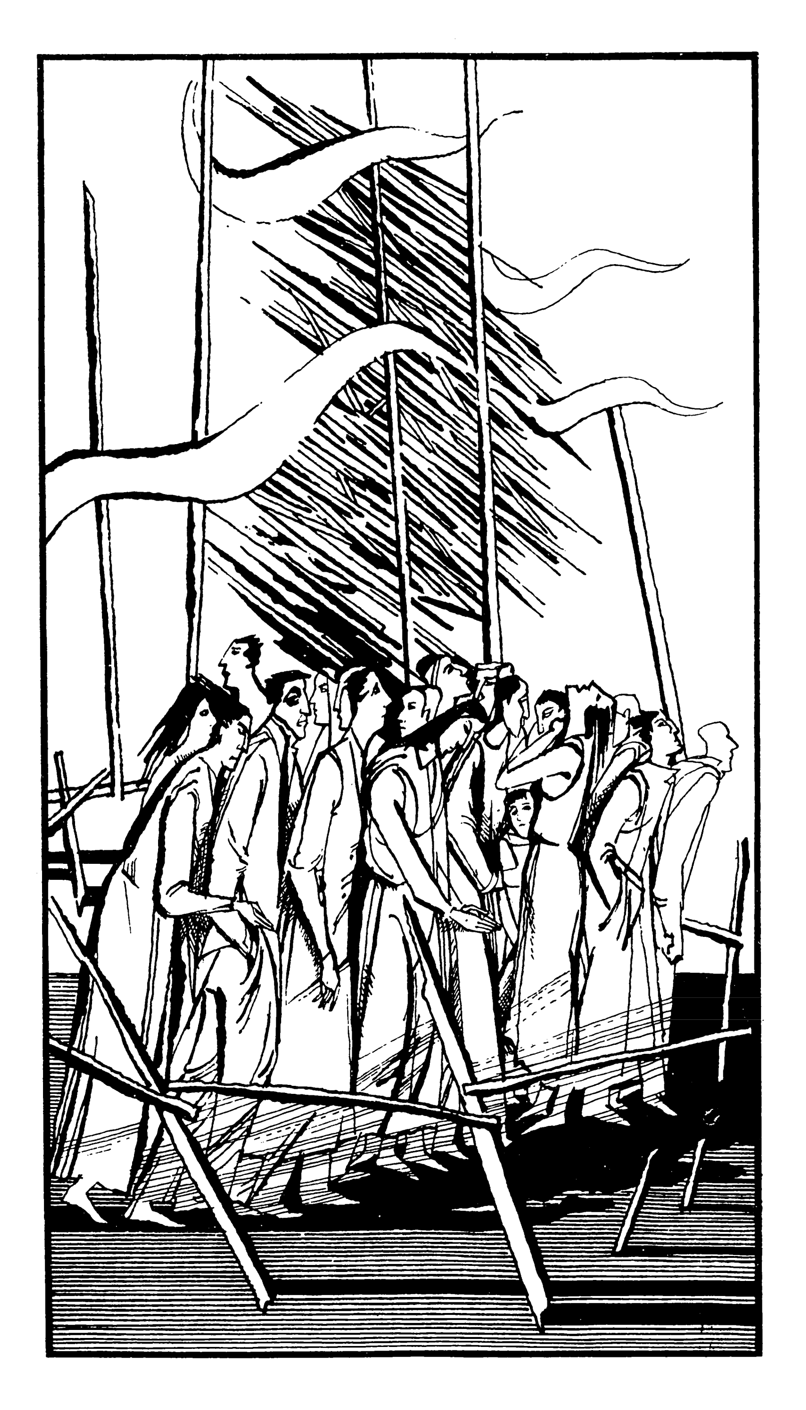
Люблю мой крест, мою полунужду
и то, что мне не выбиться из круга,
что пью с чужим, а гневаюсь на друга,
со злом мирюсь, а доброго не жду.

Мне век в лицо швыряет листопад,
а я люблю, не в силах отстраниться,
тех городов гранитные страницы,
что мы с тобой листали наугад.

Люблю молчать и слушать тишину
под звон синиц и скок веселых белок,
стихи травы, стихи березок белых,
что я тебе в час утренний шепну.

Каких святынь коснусь тревожным лбом?
Чем увенчаю влюбчивую старость?
Ни островка в синь-море не осталось,
ни белой тучки в небе голубом...

Безумный век идет ко всем чертям,
а я читаю Диккенса и Твена
и в дни всеобщей дикости и тлена,
смеясь, молюсь мальчишеским мечтам.



* * *

Нехорошо быть профессионалом.
Стихи живут как небо и листва.
Что мастера? Они довольны малым.
А мне, как ветру, мало мастерства.

Наитье чар и свет в оконных рамах,
трава меж плит, тропинка к шалашу,
судьба людей, величье книг и храмов —
мне все важней всего, что напишу.

Я каждый день зову друзей на ужин.
Мой дождь шумит на множество ладов.
Я с детских лет к овчаркам равнодушен,
дворнягам умным вся моя любовь.

В душе моей хранится много таин
от милых муз, блужданий в городах.
Я только что открыл вас, древний Таллинн,
и тихий Бах, и черный Карадаг.

А мастера, как звезды в поднебесье,
да есть ли там еще душа жива?
Но в них порочность опыта и спеси,
за ремеслом не слышно божества.

Шум леса детского попробуй пробуди в них,
по дню труда свободен их ночлег.
А мне вставать мученье под будильник,
а засыпать не хочется вовек.

Нужде и службе верен поневоле,
иду под дождь, губами шевелю.
От всей тоски, от всей кромешной боли
житье душе, когда я во хмелю.

Мне пить с друзьями весело и сладко,
а пить один я сроду не готов,—
а им запой полезен, как разрядка
после могучих выспренних трудов.

У мастеров глаза, как белый снег, колючи,
сквозь наши ложь и стыд их воля пронесла,
а на кресте взлететь с голгофской кручи —
у смертных нет такого ремесла.

Посошок на дорожку Леше Пугачеву

С дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай!
Кто знает, брат, когда еще
приду к тебе на чай.

Я ревновал тебя ко всем,
кому от щедрых крыл
ты, на похмелье окосев,
картиночки дарил.

А я и в праздничном хмелю —
покличь меня, покличь —
ни с кем другим не преломлю
коричневый кулич.

Твой путь воистину не плох,
тебе не пасть во тлен,
иконописец, скоморох,
расписыватель стен.

Еще и то дрожит в груди,
что среди прочих дел
по всей Россиюшке, поди,
стихи мои попел.

Тобой одним в краю отцов
мне красен гиблый край.
С дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай.

Нам люб в махорочном дыму
языческий обряд,
но что любилось нам, тому
пиши пропало, брат.

Пиши пропало, старина,
мальчишеской стране,
где пела верная струна
о светлой старине.

Пиши пропало той поре,
когда с метельных троп,
едва стемнеет на дворе,
а мы уже тип-топ.

И прозревает глубина
сквозь заросли морщин,
когда за чарочкой вина
в обнимочку молчим.

За то, что чуешь Бога зов
сквозь вой недобрых стай,
с дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай...

Ты улыбнулся от души,
как свечечку зажег,—
и мы в ремесленной тиши
осушим посошок.

Хвала покинувшему брег,
чей в ночь уходит след,
кто сквозь отчаянье и грех
прозрел всевышний свет.

Еще немного побредем
неведомым путем,
а что останется потом —
не нам судить о том.

О нашей сладостной беде,
об удали в аду
напишут вилы по воде
в двухтысячном году.

Но все забьет в конце концов
зеленый молочай...
С дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай.

Ода воробью

Пока меня не сбили с толку,
презревши внешность, хвор и пьян,
питаю нежность к воробьям
за утреннюю свиристелку.
Здоров, приятель! Чик-чирик!
Мне так приятен птичий лик.

Я сам, подобно воробью,
в зиме немилой охолонув,
зерно мечты клюю с балконов,
с прогретых кровель волю пью
и бьюсь на крылышках об воздух
во славу братиков безгнездых.

Стыжусь восторгов субъективных
от лебедей, от голубей.
Мне мил пройдоха воробей,
пророков юркий собутыльник,
посадкам враг, палаткам друг,—
и прыгает на лапках двух.

Где холод бел, где лагерь был,
где застят крыльями засовы
орлы, стервятники да совы,
разобранные на гербы,—
а он и там себе с морозца
попрыгивает да смеется.

Шуми под окнами, зануда,
зови прохожих на концерт!..
А между тем не так он сер,
как это кажется кому-то,
когда, из лужицы хлебнув,
к заре закидывает клюв.

На нем увидит, кто не слеп,
наряд изысканных расцветок.

Он солнце склевывает с веток,
с отшельниками делит хлеб
и, оставаясь шельма шельмой,
дарит нас радостью душевной.

А мы бродяги, мы пираты,—
и в нас воробышек шалит,
но служба души тяжелит,
и плохо то, что не пернаты.
Тоска жива, о воробьи,
кто скажет вам слова любви?

Кто сложит оду воробьям,
галдящим под любым окошком,
безродным псам, бездомным кошкам,
ромашкам пустырей и ям?
Поэты вымерли как туры —
и больше нет литературы.

Чернигов

Воробьи умолкли, прочирикав.
А про что? Наверно, про Чернигов,
монастырский, княжий, крепостной.
С этим звездам впору целоваться.
Это воздух древнего славянства.
Это наше детство над Десной.

Нет еще московского Ивана,
и душе заветна и желанна
золотая русская пора.
Он стоит, не зная о Батые,
смотрят ввысь холмы его святые,
золотые реют купола.

Это после будет вор на воре,
а пока живем по вольной воле:
хошь — молись, а хошь — иди в кабак.
Ни опричнин нет, ни канцелярий,
но зато полно господних тварей,
особливо кошек и собак.

От земли веселия и лада
хорошо доплыть до Цареграда
и вкусить от грецкого ума,—
но нигде нет жен милей и кротче,
но хмельны таинственные рощи,
где гудут пчелиные дома.

Так живем в раденьях и забавах.
Шлют в наш Кремль послов своих лукавых
царь индийский да персидский шах.
Пишем во церквах святые лики,
и в Ерусалим идут калики,
и живут подвижники в лесах.

Тени душ витают на погосте,
и горят рябиновые грозди,

и течет под берегом река,
и покой от веры и полыни.
Никакой Империи в помине.
Это просто Средние века.

Для того чтоб речь была хорошей,
надо б горстку соли скоморошьей,
да боюсь пересолить в летах,
потому что — верьте иль не верьте —
будут жарить черти после смерти
скоморохов на сковородах.

И смотрю с холмов на храмы божьи,
проклинаю все, что будет позже:
братний спор, монголов и Москву,—
и люблю до головокруженья
лепоту и мир богослуженья
и каштанов вещую листву..

* * *

Ночью черниговской с гор араратских,
шерсткой ушей доставая до неба,
чад упасая от милостынь братских,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Плачет Господь с высоты осиянной.
Церкви горят золоченой известкой.
Меч навострил Святополк Окаянный.
Дышат убивцы за каждой березкой.

Еле касаясь камений Синая,
темного бора, воздушного хлеба,
беглою рысью кормильцев спасая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Путают путь им лукавые черти.
Даль просыпается в россыпях солнца.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Мук не приявший вовек не спасется.

Киев поникнет, расплещется Волга,
глянет Царьград обреченно и слепо,
как от кровавых очей Святополка
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Смертынька ждет их на выжженных пожнях,
нет им пристанища, будет им плохо,
коль не спасет их бездомный художник,
бражник и плужник по имени Леха.

Пусть же вершится веселое чудо,
служится красками звонкая треба,
в райские кущи от здешнего худа
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Бог-Вседержитель с лазоревой тверди
ласково стелет под ноженьки путь им.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Чад убиенных волшбою разбудим.

Ныне и присно по кручам Синая,
по полю русскому в русское небо,
ни колоска под собой не сминая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Моцарт

У моря ветер камни сыпал горсткой,
ракухи лускал.
Откуда Моцарт осенью приморской
на юге русском?

Он был как свет, не ведавший обмана,
не знавший спеси.
А где еще и слушать «Дон Жуана»,
как не в Одессе?

Придет пора — и я тебе наскучу,
Господня шалость.
Здесь сто племен в одну свалилось кучу
и все смешалось.

Под вольный шум отчаянного груза,
хвальбу и гогот
по образцам отверженного вкуса
схохмился город.

Сбегали к морю пушкинские строки,
овечьи тропы.
Лег на сухом и гулком солнцепеке
шматок Европы.

Здесь ни Растрелли не было, ни Росси,
но в этом тигле
бродяги мира в дань ребячьей грезе
Театр воздвигли.

Над ним громами небо колебалось,
трубили бури,
лишь Моцарт был, как ангел или парус,
дитя лазури.

Он шел, свистя, по пристаням, по дюнам,
с волшбой приятья,
и я не зря о Пушкине подумал:
они как братья.

Я рад ему в налитой Богом сини,
хотя, наверно,
играл оркестр и пели героини
довольно скверно.

Я б не хотел классичнее и строже,
и слава Богу,
что здесь блистают статуи и ложи,
как в ту эпоху.

Душе скитальца музыка желанна,
как сон о лесе,
а где еще и слушать «Дон Жуана»,
как не в Одессе?

Пусть стаи волн кусты и камни мочат,
и гаснут зори,
и чарам жизни радуется Моцарт
на Черном море.

* * *

С Украиной в крови я живу на земле Украины,
и, хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу,
на лугах доброты, что ее тополями хранимы,
место есть моему шалашу.

Что мне север с тайгой, что мне юг с наготою нагорий?
Помолюсь облакам, чтобы дождик прошел полосой.
Одуванчик мне брат, а еще молочай и цикорий,
сердце радо ромашке простой.

На исходе тропы, в чернокнижье болот проторенной,
древокрылое диво увидеть очам довелось:
Богом по лугу плыл, окрыленный могучей короной,
впопыхах не осознанный лось.

А когда, утомленный, просил: приласкай и порадуй,
обнимала зарей, и к ногам простирала пруды,
и ложилась травой, и дарила блаженной прохладой
от источника Сковороды.

Вся б история наша сложилась мудрей и бескровней,
если б город престольный, лучась красотой и добром,
не на севере хмуром возвел золоченые кровли,
а над вольным и щедрым Днепром.

О земля кобзаря, я в закате твоем, как в оправе,
с тополиных страниц на степную полынь обронен.
Пойте всю мою ночь, пойте весело, пойте о славе,
соловьи запорожских времен.

Львов

И статуи владык — и статуи Христа —
в сверкании колонн поникшие по нишам.
Не зря ты город львов. Твой лик жесток и пышен.
Грозны твои кресты. Державна красота.

И людно, и светло,— а я один в тоске, вишь.
Мир весел и могуч,— а я грущу по нем.
Да брось ты свой венок, дай боль твою, Мицкевич,
неужто мы с тобой друг друга не поймем?..

О бедный город лир, на что мне твой обман?
Враждебной красотой зачем ты нас морочишь?
Я верен нищете прадедовских урочищ.
Мне жаль твоей судьбы, ясновельможный пан.

Ты был милей в те дни, когда ты был горбат
и менее богат, но более духовен.
Есть много доброты в тиши твоих часовен.
Лесисты и свежи отрожия Карпат.

По бунтам и балам, шаля, пропрыгал юность,
сто лет сходил с ума по дьявольским губам,—
и бронзовый Исус уселся, пригорюнясь,
жалеть, а не судить поверивших в обман.

Как горестно смотреть на кровли городские.
Я дань твоим ночам не заплачу ничем.
Ты праздничен и щедр,— но что тебе Россия?
Зачем ты нам — такой? И мы тебе — зачем?

Твои века молчат. Что знаю я — прохожий,
про боль твоих камней, случайный и немой?
Лишь помню, как сквозь сон, что был один похожий,
на косточках людских парящий над Невой.

Так стой, разиня рот, молчи, глазами хлопай.
Нам все чужое здесь — и камни, и листва.
Мы в мире сироты, и нет у нас родства
с надменной, набожной и денежной Европой.

Кишиневская баллада

Непоседушка я, непоседа,
еду вдаль, засыпаю под стук,—
глядь — стоит на задворках у света
город-пасынок, город-пастух.

Он торгует плодами златыми
и вином,— но какого рожна
первобрага надменной латыни
в перебранке базарной слышна?

Сколько жил, не встречались ни разу,
да и с виду совсем как село.
Эким ветром романскую вазу
в молдаванскую глушь занесло!..

Весь в слезах от влюбленных наитий,
от бесовского пламени ал,
не отсюда ль повинный Овидий
кесарийские пятки лизал?

Это пылью покрылось степною,
виноградной повилось лозой.
В черной шапке стоит надо мною
терпкоустый слезящийся зной.

Не сулит ни соблазна, ни чуда,
не дарит ни святынь, ни обнов,
не кишеньем столичного люда
привлекает сердца Кишинев.

Как великий поэт, простодушен,
как ребеночек, трубит в рожок.
— Что сегодня у Бога на ужин?
— Кукурузная каша, дружок.

Европейцу, наверное, внове,
может быть, в первый раз на веку,
не прося, услыхать в Кишиневе
петушиное кукареку.

В этом пенье, в повозочном скрипе,
с деревенской небритостью щек,
он живет у дорог на отшибе,
мамалыжник, добряк, дурачок.

Доводящийся Риму с Парижем
как-никак речевою родней,
что он скажет пришельцам бесстыжим?
Промолчит, как за божьей броней.

Но не надо особой натуги,
чтоб, увидев, понять не спеша:
в каждом доме и в каждой лачуге
сохранилась живая душа.

На усатом и каменном лике
отразились труды и бои,—
это маленький Штефан Великий
охраняет владенья свои.

А владенья — зеленые скверы
да фонтаны со свежей водой,
где о чем-то «шу-шу» староверы,
как воробышки перед бедой...

Чаша с пуншем стоит недопита,—
Саша Пушкин — лицейский щегол —
от забав постоялого быта
за косматым искусом ушел.

Не сулила забвенья Земфира,
не шептала немыслимых слов,
только волю одну изъявила —
чтобы спал у холодных костров.

Сон бежит от лица песнопевца,
ночь — для тайны, для ночи — сверчок,
как молдавского красного перца
обжигающий сердце стручок.

Но и сердцу заветная пища,
но и радости нет золотей,
что о вечном поют корневища
под камнями его площадей.

Сколько улочек в городе этом,
немощеных, в пыли да в листве,
где, наверно, поется поэтам
как в Эстонии или Литве.

И на каждом старинном порожке,
где старинные люди живут,
умываются умные кошки,
но в свой мир никого не зовут.

Золотушный, пастушеский, сонный,
ты уж в дебрях своих не взыщи,
что орехов ребристые звоны
в снежный край увезут москвичи.

И радушность твоя не таима,
и приветствовать путников рад,—
как-никак, а Парижа и Рима
в скифской скуди потерянный брат.

* * *

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле
мы жили бок о бок, но все это было давно.
Мы стали друзьями, молясь о покое и воле,
но свет их изведать живым на земле не дано.

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле
живые деревья подходят к высотным домам
и воздухом бора сердца исцеляют от боли
и музыкой Баха возвышенно дороги нам.

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле
мы с милой гостили в задумчивом царстве твоем,
от рук твоих добрых отведавши хлеба и соли,
и стало светло нам, и мы побратались втроем.

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле
под дружеским кровом мы вдоволь попили вина.
Поставь нам пластинку, давай потолкуем о Белле.
Пусть жизнь твоя будет, как русские реки, длинна.

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле
мы пили за дружбу, но все это было давно,
и, если остался осадок из грусти и боли,
пусть боль перебродит и грусть превратится в вино.

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле
старинная дружба да будет легка на помин,
и в новые годы за-ради веселых застолий
сойдутся безумцы на праздник твоих именин.

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле.

Дума на похмелье

В ночах мильоногнездых
под гнетом темных гнезд
не веет вольный воздух,
не видно светлых звезд.

В чаду хмельном и спертом,
в обители чумы
политикой и спортом
питаются умы.

Там платят дань заботам,
ведут обидам счет,
все меньше год за годом
нас истина влечет.

Холопам биографий
не снять с нутра оков,
хоть лживей и кровавей,
чем наши, нет богов.

Как желты наши лица,
как праздна наша прыть.
Самим бы исцелиться,—
ан тужимся целить.

Рабы тщеты и фальши,
с апломбом мировым
все с Родины подальше
податься норовим...

Меж тем, пока мы спорим,
так трогательно-бел
зацвел по рощам терен,
соловушка запел.

Всей живности хозяин
измучился и сник,
что столько мы не знаем
из музыки и книг.

И маленькие дети
додумались уже,
что есть одно на свете
спасение душе.

Ни горечью сиротства,
ни бунтом, ни гульбой
свобода не берется,
а носится с собой.

Сам дьявол, хоть не скаред,
на пажити чужой
ее нам не подарит,
раз нету за душой...

Нас ангел не разбудит
в день Страшного суда,
но Вечность есть и будет
сегодня и всегда.

И бабочка ли, куст ли,
словесное ль витье —
в природе и в искусстве
знамения ее.

К твоим шагам, о путник,
да не пристанет ложь,
пока не в косных буднях,
а в Вечности живешь.

Хоть смысл пути неведом,
идти не уклонясь —
все дело только в этом,
да дело не про нас.

И значит, песня спета,
коль сквозь табачный дым
мы дарственного света
увидеть не хотим.

Что боги наши плохи,
постигнувшим давно,
из собственной эпохи
нам выйти не дано.

На горе многим землям
готовый кануть Рим,
мы разуму не внемлем
и радости не зрим.

Лишь я, поэт кабацкий —
вишь, глотка здорова,—
верчу заместо цацки
дурацкие слова.

* * *

Я плачу о душе, и стыдно мне, и голо,
и свет во мне скорбит о поздней той поре,
как за моим столом сидел, смеясь, Микола
и тихо говорил о попранном добре.

Он — чистое дитя, и вы его не троньте,
перед его костром мы все дерьмо и прах.
Он жизни наши спас и кровь пролил на фронте,
он нашу честь спасет в собачьих лагерях.

На сердце у него ни пролежней, ни пятен,
а нам считать рубли да буркать взаперти.
Да будет проклят мир, где мы долгов не платим.
Остановите век — и дайте мне сойти.

Не дьявол и не рок, а все мы виноваты,
что в семени у нас — когда б хоть гордый! — чад.
И перед чванством лжи молчат лауреаты —
и физики молчат, и лирики молчат.

Чего бояться им — увенчанным и сытым?
А вот поди ж, молчат, как суслики в норе,—
а в памяти моей, смеющийся, сидит он
и с болью говорит о попранном добре...

Нам только б жизнь прожить, нам только б скорость выжать,
нам только б сон заспать об ангельском крыле,—
и некому узнать, и некому услышать
мальчишку, что кричит о голом короле.

И Бога пережил — без веры и без таин,
без кроны и корней — предавший дар и род,
по имени — Иван, по кличке — Ванька-Каин,
великий — и святой — и праведный народ.

Я рад бы все принять и жить в ладу со всеми,
да с ложью круговой душе не по пути.
О кто там у руля, остановите время,
остановите мир и дайте мне сойти.

Генриху Алтуняну

I

Стоит у меня на буфете
над скопищем чашек и блюд
с тоской об утраченном свете
стеклянный ногастик — верблюд.

— Скажи мне, верблюдик стеклянный,
с чего ты горюешь один?
— С того, что пришел я так рано
на праздник твоих именин.

Твой брат, что меня приготовил,
со мною к тебе не пришел.
Еще я от рук его тепел,
да крест его крив и тяжел.

— Мой бедный стеклянный верблюдик,
зачем ты не рад ничему?
— Затем, что любимый твой братик
попал вместо пира в тюрьму.

Меня сотворили двугорбым
накапливать умственный жир,
а он был веселым и гордым
и с детства по-рыцарски жил.

Его от людей оторвали
и потчуют хлебом с водой,
а он, когда вы пировали,
всегда был у вас тамадой.

Какое больное мученье,
какая горбатая ложь,
что вот он сидит в заточенье,
а ты на свободе живешь...

Выслушивать жалобу эту
не к радости и не к добру,
и я подбегаю к буфету,
верблюдика в руки беру.

Каким ты был добрым, верблюдик,
и как оказался суров!..
Затем, что уже не вернуть их,
мне грустно от сказанных слов.

И он своей грусти не прячет,
и стены надолго вберут
те слезы, которыми плачет
стеклянный сиротка — верблюд.

II

У нас, как будто так и надо,
коли не раб ты,
платись семью кругами ада
за каплю правды.

Теперь не скоро в путь обратный
из нети круглой.
Прости, прости мне, лучший брат мой,
прости мне, друг мой.

Придется ль мне о днях ненастных
твой лоб взъерошить?
Где меч твой, рыцарь курам на смех,
где твоя лошадь?

Уж ты-то, гордый, не промямлишь,
что ты не молод.
А праведниками тремя лишь
спасется город!

III

А знать не знаю ничего я:
беда незряча.
Возможно ли, чтоб дом героя
стал домом плача?

Ах, Дон Кихоту много ль счастья
сидеть на месте
и не смешно ли огорчаться,
что он в отъезде?

Отравы мерзостной и гадкой
хлебнув до донца,
ужель мы чаяли, что как-то
все обойдется?

Пока живем, как при Батые,
при свежей крови,
как есть пророки и святые,
так есть герои.

IV

Когда наш облик злом изломан
и ложь нас гложет,
на то и рыцарь, что рабом он
пребыть не может.

Что я рабом, измучась, рухну
в пустыне смрадной,
прости, прости мне, лучший друг мой,
прости мне, брат мой...

Вся горечь выпитой им чары
пойдет в добро нам.
Годны быть лагерные нары
Христовым троном!

Хоть там не больно покемаришь
без муз и граций,
но праведниками тремя лишь
спасется град сей!

На вечную жизнь Л. Е. Пинского

Неужели никогда?..
Ни в Москве, ни в Белой Церкви?..
Победила немота?
Светы Божии померкли?

Где младенец? Где пророк?
Где заваривальщик чая?
С дымом шурх под потолок,
человечеству вещая.

Говорун и домосед
малышом из пекла вылез.
От огня его бесед
льды московские дымились.

Стукачи свалились с ног,
уцепились брат за братца:
ни один из них не смог
в мудрой вязи разобраться.

Но, пока не внемлет мир
и записывает пленка,
у него в гостях Шекспир,
а глаза как у ребенка.

Спорит, брызгая слюной.
Я ж без всякого усилья
за больной его спиной
вижу праведные крылья.

Из заснеженного сна,
из чернот лесоповала
детских снов голубизна
к мертвой совести взывала.

Нисходила благодать.
Сам сиял, мальчишка-прадед.
Должников его считать
у дубов листвы не хватит.

Неуживчив и тяжел,
бросив времени перчатку,
это он меня нашел
и пустил в перепечатку.

Помереть ему? Да ну!
Померещилось — и врете.
В волю, в Вечность, в вышину
он уплыл из плена плоти.

От надзора, от молвы
для духовного веселья.
Это мы скорей мертвы
без надежд на воскресенье.

Вечный долг наш перед ним,
что со временем не тает,
мы с любовью сохраним.
Век проценты насчитает.

Не мудрец он, а юнец
и ни разу не был взрослым,
над лицом его венец
выткан гномом папиросным.

Не осилить ни огнем,
ни решетками, ни бездной
вечной памяти о нем,
вечной жизни повсеместной.

Кто покойник? Боже мой!
Леонид Ефимыч Пинский?
Он живехоньким живой,
с ним полмира в переписке.

* * *

Я не знаю, пленник и урод,
славного гражданства,
для чего, как я, такому вот
на земле рождаться.

Никому добра я не принес
на земле на этой,
в темном мире не убавил слез,
не прибавил света.

Я не вижу меж добром и злом
зримого предела,
я не знаю в царстве деловом
никакого дела.

Я кричу стихи свои глухим,
как собака вою...
Господи, прими мои грехи,
отпусти на волю.

* * *

Не говорите
русскому про Русь.
Я этой прыти
до смерти боюсь.

В крови без крова
пушкинский пророк
и Спас Рублева
кровию промок.

Венец Исусов
каплями с висков
стекает в Суздаль,
Новгород и Псков.

А тех соборов
Божью благодать
исчавкал боров
да исшастал тать.

Ты зришь, ты видишь,
хилый херувим,
что зван твой Китеж
именем другим?

Весь мир захлюпав
грязью наших луж,
мы — город Глупов,
свет нетленных душ.

Кичимся ложью,
синие от зим,
и свету Божью
пламенем грозим.

У нас булатны
шлемы и мечи.
За пар баланды
все мы — палачи,

свиные хамы,
силою сильны,—
Двины и Камы
сирые сыны.

И я такой же
праведник в родню,—
холопьей кожи
сроду не сменю.

Как ненавистна,
как немудрена
моя отчизна —
проза Щедрина.

* * *

Как страшно в субботу ходить на работу,
в прилежные игры согбенно играться
и знать, на собраньях смиряя зевоту,
что в тягость душа нам и радостно рабство.

Как страшно, что ложь стала воздухом нашим,
которым мы дышим до смертного часа,
а правду услышим — руками замашем,
что нет у нас Бога, коль имя нам масса.

Как страшно смотреть в пустоглазые рожи,
на улицах наших как страшно сегодня,
как страшно, что, чем за нас платят дороже,
тем дни наши суетней и безысходней.

Как страшно, что все мы, хотя и подстражно,
пьянчуги и воры — и так нам и надо.
Как страшно друг с другом встречаться. Как страшно
с травою и небом вражды и разлада.

Как страшно, поверив, что совесть убита,
блаженно вкушать ядовитые брашна
и всуе вымаливать чуда у быта,
а самое страшное — то, что не страшно.



* * *

Мне снится грусти неземной
язык безустный,
и я ни капли не больной,
а просто грустный.

Не отстраняясь, не боясь,
не мучась ролью,
тоска вселенская слилась
с душевной болью.

Среди иных забот и дел
на тверди серой
я в должный час переболел
мечтой и верой.

Не созерцатель, не злодей,
не нехристь все же,
я не могу любить людей,
прости мне, Боже.

Припав к незримому плечу
ночами злыми,
ничем на свете не хочу
делиться с ними.

Гордыни нет в моих словах —
какая гордость? —
лишь одиночество и страх,
под ними горблюсь.

Душа с землей свое родство
забыть готова,
затем что нету ничего
на ней святого.

Как мало в жизни светлых дней,
как черных много!
Я не могу любить людей,
распявших Бога.

Да смерть — и та — нейдет им впрок,
лишь мясо в яму,—
кто небо нежное обрек
алчбе и сраму.

Покуда смертию не стер
следы от терний,
мне ближе братьев и сестер
мой лес вечерний.

Есть даже и у дикарей
тоска и память.
Скорей бы, Господи, скорей
в безбольность кануть.

Скорей бы, Господи, скорей
от зла и фальши,
от узнаваний и скорбей
отплыть подальше!..

* * *

Я почуял беду и проснулся от горя и смуты
и заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу,—
и не знаю, как быть, и как годы проходят минуты.
Ах, родные, родные, ну чем я вам всем помогу?

Хоть бы чуда занять у певучих и влюбчивых клавиш,
но не помнит уроков дурная моя голова,
а слова — мы ж не дети,— словами беды не убавишь,
больше тысячи лет, как не Бог нам диктует слова.

О как мучает мозг бытия неразумного скрежет,
как смертельно сосет пустота вседержавных высот.
Век растленен и зол. И ничто на земле не утешит.
Бог не дрогнет на зов. И ничто в небесах не спасет.

И меня обижали — безвинно, взахлеб, не однажды,
и в моем черепке всем скорбям чернота возжена,
но дано вместо счастья мученье таинственной жажды,
и прозренье берез, и склоненных небес тишина.

И спасибо животным, деревьям, цветам и колосьям,
и смиренному Баху, чтоб нам через терньи за ним,—
и прощенье врагам, не затем, чтобы сладко спалось им,
а чтоб стать хоть на миг нам свободней и легче самим.

Еще могут сто раз на позор и на ужас обречь нас,
но, чтоб крохотный светик в потемках сердец не потух,
нам дает свой венок — ничего не поделаешь — Вечность
и все дальше ведет — ничего не поделаешь — Дух.

* * *

Покамест есть охота,
покуда есть друзья,
давайте делать что-то,
иначе жить нельзя.

Ни смысла и ни лада,
и дни как решето,—
и что-то делать надо,
хоть неизвестно что.

Ведь срок летуч и краток,
вся жизнь — в одной горсти,—
так надобно ж в порядок
хоть душу привести.

Давайте что-то делать,
чтоб духу не пропасть,
чтоб не глумилась челядь
и не кичилась власть.

Никто из нас не рыцарь,
не праведник челом,
но можно ли мириться
с неправдою и злом?

Давайте делать что-то
и, черт нас подери,
поставим Дон Кихота
уму в поводыри.

Пусть наша плоть недужна
и безысходна тьма,
но что-то делать нужно,
чтоб не сойти с ума.

Уже и то отрада
у запертых ворот,
что все, чего не надо,
известно наперед.

Решай скорее, кто ты,
на чьей ты стороне,—
обрыдли анекдоты
с похмельем наравне.

Давайте что-то делать,
опомнимся потом,—
стихи мои и те вот
об этом об одном.

За Божий свет в ответе
мы все вину несем.
Неужто все на свете
окончится на сем.

Давайте ж делать то, что
Господь душе велел,
чтоб ей не стало тошно
от наших горьких дел!

* * *

Благодарствую, други мои,
за правдивые лица.
Пусть, светла от взаимной любви,
наша подлинность длится.

Будьте вечно такие, как есть,—
не борцы, не пророки,
просто люди, за совесть и честь
отсидевшие сроки...

Одного я всем сердцем боюсь,
как пугаются дети,
что одно скажет правнукам Русь:
как не надо на свете.

Видно, вправду такие чаи,
уголовное время,
что все близкие люди мои —
поголовно евреи...

За молчанье разрозненных дней,
за жестокие версты
обнимите меня посильней,
мои братья и сестры.

Но и все же не дай вам Господь
уезжать из России.
Нам и надо лишь соли щепоть
на хлеба городские.

Нам и надо лишь судеб родство,
понимание взгляда.
А для бренных телес ничего
нам вовеки не надо.

Вместе будет нам в худшие дни
не темно и не тяжко.
Вы одни мне заместо родни,
павлопольская бражка.

Как бы ни были встречи тихи,
скоротечны мгновенья,
я еще напишу вам стихи
о святом нетерпенье.

Я еще позову вас в бои,
только были бы вместе.
Благодарствую, други мои,
за приверженность чести.

Нашей жажде все чаши малы,
все, что есть, вроде чуши.
Благодарствую, други мои,
за правдивые души.

Зине Миркиной

Душа родная, человек живой,
пророк Господень с незлобивым взглядом,
даривший нас миротворящим ладом,
смиреньем дум и гулкой тишиной,

Друг на земле и в Вечности сестра,—
вот Вы больны, вот мы от Вас далече,
но с нами — Ваши письма, наши встречи,
стихи в лесу, у Вашего костра.

Не Вы ли нам открыли свет глубин,
что есть во всех, но лишь немногим ведом,
и озарили тем блаженным светом
искус и мрак безжизненных годин?

Не Вы ли нам твердили о Творце,
о правоте его сокрытой Воли,
что нам нести без ропота и боли
и, вверясь ей, не думать о конце?

Не Вы ль учили: светел духа путь,
лишь тропы тела путаны и зыбки,
и скорби нет в звучанье горней скрипки,
но зовче зов и явственнее путь?

Спасибо Вам за то, что с той поры
и нашим снам светлее и свободней,
за смысл и тайну сказки новогодней,
за все, за все несчетные дары.

За негасимый праздник Рождества —
о, сколько душ он вырастил и поднял,—
за крестный путь, за каждодневный подвиг,
за кроткий жар и тихие слова...

Зачем же вдруг, склонясь на голос тьмы,
о бедный друг, в той горестной заботе,
устав от мук, Вы смерть к себе зовете,
забыв свои бессмертные псалмы?

Зачем Вы вдруг поникли головой,
«прости» всему и замолчали миру,
из рук роняя творческую лиру,—
душа родная, человек живой?

Да не умолкнет славящая песнь,
а нам дай Бог не упустить ни звука
из песни той. Что Вечности — разлука?
Что Духу — смерть? Что Сущности — болезнь?

Но если это нужно так Ему,
мой скудный век Ему на усмотренье:
пусть Вам оставит свет, восторг, паренье,
а мне даст тяжесть, терния и тьму.

О, дай мне Бог недолго быть в долгу,
средь дрязг и чар, в одеждах лживых Духа.
Дай Бог Вам сил, и радости, и слуха.
Так я молюсь — и лучше не могу.

На лыжах

Земля в снегу — как небо в облаках.
Замри, метель, не мни и не колышь их.
Что горевать о грозах, о врагах?
Идем на лыжах.

Все утро дуло, крышами гремя,
но стихло вдруг, и, с холоду поникши,
кой-как плетусь за храбрыми тремя
и набираюсь мужества по Ницше.

Мы вчетвером вползаем в зимний лес.
Как он велик! Как низко я зимую.
Как свеж покров, наброшенный с небес
на пестрый сор и черноту земную.

Бела дорога в царство лебедей.
А мы-то все трясемся и цыганим,
но весь наш мир бездушней и бедней
в соседстве с этим блеском и дыханьем.

И пусть неважный лыжник из меня,
а все ж и мне, сутулому, навстречу
бегут осины, ветками звеня,
дубы плывут — и я им не перечу.

И я, как воздух, вечен и крылат,
но свет еще добрей и беззаботней.
О, как у лыжниц личики горят!
Как светел дух под ласкою Господней!

Ни рвы, ни пни, ни черные стволы,
ни пир ворон на выгоревшем месте
не омрачат сверкающей хвалы,
не заглушат неуловимой вести.

Я никому из чутких не чужой,
но сладок сон: задумчиво-неспешно
скользить в снегах серебряной стезей,
чья белизна божественно безгрешна.

Скажу одно: блажен, кому дано
в морозный день, набегавшись по лыжням,
разлить по чарам зелено вино
и пить в любви к неведомым и ближним.

Элегия февральского снега

Не куем, не сеем и не пашем,
но и нас от тяжеб и обид
кличет Вечность голосом лебяжьим,
лебединым светом серебрит.

Вышел срок метелицам полночным,
и к заре, блистая и пыля,
детски чистым, райски непорочным,
снежным снегом устлана земля.

Не цветок, не музыка, не воздух,
но из той же выси, что и сны,
эти дни о шлейфах звездохвостых
в обновимом чуде белизны.

Это лес пришел к нам вместе с лешим,
опустилась свыше кисея,
чтоб, до боли тих и незаслежен,
белый свет девически сиял.

Это мир, увиденный впервые,
детских снов рождественская вязь.
Это сказка утренней Марии,
что из этой пены родилась...

Падай, снег, на волосы и губы,
холодком за шиворот теки.
Хорошо нам в этаком снегу бы
скоротать остатние деньки.

В сердце горько пахнет можжевельник,
и, когда за сто земель и вод
откочует брат мой Саша Берник,
как он там без снегу проживет?



Что мы есть без племени, без рода
и за что нас в этакий мороз
как родных приветствует природа
пуховыми ветками берез?

Знать, и нам виденья не случайны
и на миг забрезжит благодать,
знать, и мы достойны нежной тайны,
что вовек живым не разгадать...

Скоро мы в луга отворим двери,
задрожим от журавлиных стай.
Пусть весна вершится в полной мере,
только ты, пожалуйста, не тай.

Сыпься с неба, тихий и желанный,
и огню, и Вечности родня,
холоди немеркнущие раны
и холмы с оврагами равняй.

Скоро канешь, горний, станешь, свежий,
мерзлой кашей, талою водой.
Но ведь чудо было не во сне же,
и во мраке, сложенном с бедой,
помоги нам выжить, святый снеже,
падай, белый, падай, золотой.

Элегия Белого озера

Давай засвищем, флейта, в лад
напевам осени,
авось отыщем чей-то клад
на Белом озере.

Туда, в заветные места,
на горе ворогу
айда чуть свет, моя мечта,
нагою по лугу.

Там сказка розовой земли
и школа Корчака,
где пьют амброзию шмели
из колокольчиков.

И, от невидимых болот
спасая узника,
поет всю Вечность напролет
лесная музыка.

Там можно душу уберечь
и песню выпасти
и растворить мирскую речь
в древесной тихости.

Когда из чащи лик живой,
дыша, просунется,
не испугается его
душа-разумница.

Пока наш взор следить готов
за вихрем беличьим,
всех наших бедствий и грехов
радеет перечень.

*

Еще не вторил листобой
напевам осени
в те дни, как жили мы с тобой
на Белом озере.

Над ним рыбак торчал упрям,
уду забрасывал,
читали сосны по утрам
стихи Некрасова.

Там сушь великая была,
с мольбою под небо
вся жизнь клонилась и ждала
дождя Господнего,

цепляясь ветками, маша
сухими листьями,—
как откровения — душа,
как разум — истины.

Так воздух сух, так полдень жжет,
так свет безоблачен,
был даже папоротник желт,
где я лесовничал.

Был зверем, древом поживу,
раскину ветви я,—
темна дорога к Божеству
сквозь крины светлые...

*

«Тяжел черед» — зов ветра вслед
напевам осени,
где желт и розов бересклет
на Белом озере.

Скатилось лето колесом,
пожухли желуди,
и стал печальным карий сон
в дохнувшем холоде.

Поранишь душу об мороз —
поверишь в заповедь:
пора меж сосен и берез
мечту закапывать.

Собьют ли с ног, придет ли срок
напевам осени,
заройте зарево в песок
на Белом озере.

Ах, я не воин никакой,
игрок на лире я,
и пусть споет за упокой
речная лилия.

* * *

Зеленой палаткой
в зеленом лесу
час радости краткой
от смерти спасу.

Спасу и помножу
на крест и мечту
и царскому ложу
его предпочту...

Лесного народа
немой хоровод
кровавого хода
времен не прервет.

Не шорохом хвойным
(он так поредел)
доносам и войнам
прядется предел.

Но разве не так ли
всесильный Господь
из роли в спектакле
не вызволит плоть?

Куда ж мы поденем
свой гонор и страх?
Не Божьим веленьем
живем в городах.

Себе для улова
нас путает бес
веселья земного
просить у небес.

От этой привычки
уводит бедняг
тропа с электрички
сквозь мелкий ивняк.

Час радости пробил
над веком забот,
и ангел меж ребер
в дорогу зовет.

Нет милости проще,
нет чуда святей,
чем свежие рощи
и дождик с ветвей.

Как были бы грубы
болезнь и любовь,
когда бы не трубы
берез и дубов.

Им ветки ломая,
с них лыко дерем,—
а кротость немая
нам платит добром.

Хлебнем для сугрева
и камушком в ларь,
что духом чрез древо
становится тварь.

Любимой и другу,
как Вечности знак,
органную фугу
играет сосняк.

Над речкой, над кручей,
над горем и злом
медвяно-колючий
колышется звон.

По влажным оврагам
цветет бузина,
и любящим благом
душа спасена.

Бессмысленным? Ой ли!
Лишь горечь и мрак
скрываются в пойле,
что стряпал дурак.

Неужто же эта
священная связь
не волей поэта
из тьмы создалась?

И лад из развала,
и праздник из зол
не мудрость воззвала,
не дух произвел?

То молвить могли бы,
листвой говоря,
осины и липы,
да нет словаря...

В терновую б заросль
враля и ханжу.
А что не сказалось,
уже не скажу.

Обугленной палкой
в костре вороша,
мне родины жалко
и жаль мураша...

Спросите у сосен
на их языке:
а что мы уносим
с собой в рюкзаке?

Что было случайным,
что стало родным,
доверие к тайнам,
цветенье и дым.

Дух горечи сладкой,
туман и росу —
с зеленой палаткой
в зеленом лесу.

* * *

Между печалью и ничем
мы выбрали печаль.
И спросит кто-нибудь «зачем?»,
а кто-то скажет «жаль».

И то ли чернь, а то ли знать,
смеясь, махнет рукой.
А нам не время объяснять
и думать про покой.

Нас в мире горсть на сотни лет,
на тысячу земель,
и в нас не меркнет горний свет,
не сякнет божий хмель.

Нам — как дышать — приняв печать
гонений и разлук,—
огнем на искру отвечать
и музыкой — на звук.

И обреченностью кресту,
и горечью питья
мы искупаем суету
и грубость бытия.

Мы оставляем души здесь,
чтоб некогда Господь
простил нам творческую спесь
и ропщущую плоть.

И нам идти, идти, идти,
пока стучат сердца,
и знать, что нету у пути
ни меры, ни конца.

Когда к нам ангелы прильнут,
лаская тишиной,
мы лишь на несколько минут
забудемся душой.

И снова — за листы поэм,
за кисти, за рояль,—
между печалью и ничем
избравшие печаль.

Ода тополям

Что значит — жизнь и что за слово — смерть,
кто в мире мы, я спрашивал у Бога,—
и вот Господь мне повелел воспеть
летучий тополь — жертвенник Ван Гога.

Давно ль мы все из чувственной шерсти
и шумно дышим сумраком и бездной,
и лишь во снах дано нам дорасти
до невозможной нежности древесной.

Как ни замерзни, как ни запылись,
есть тополей нежгущееся пламя,
есть глубь и тишь, взмывающие ввысь,
соборы сна, светильники с ветвями.

Мы приникаем к звездам и кустам
за тем одним, чем душу б излечили,
но шерсть и кровь, приставшие к устам,
нам не изжить в земной своей личине.

Своим жестоким вымыслам молясь,
мы служим лжи, корыстны и ретивы.
Лишь тополя под окнами у нас
зовут куда-то, как ориентиры.

Молчать бы мне в неведенье святом,
сказал «зовут», но всякий зов обманчив,
и высшей правды не было ни в том,
кто на кресте, ни в том, кто из Ламанчи.

Сказал «зовут», но свету где найтись?
И коль зовут — не вдаль, но в глубину лишь,
зовут, чтоб мы, как некогда Нарцисс,
в свою — сквозь плоть — божественность вглянулись.

Мы с детских лет похожи на волчат,
в нас доброта мгновенна и случайна,

нам свойствен шум, а тополя молчат,
полным-полны значенья и звучанья.

И многорукость прочного ствола
с индийским Богом схожа, и нежны в нас
листочком каждым, солнышку хвала,
их немота, надежность и недвижность.

Здесь, на земле, от ликов нет лекарств.
Делами злы и разумом убоги,
мы и молчим о судьбах государств,
а тополя — о Вечности и Боге.

Душа моя! На то и жизнь дана,
чтоб нам молить о нежности древесной.
Пока есть в мире тополь и луна,
все, что в нем есть, душа моя, приветствуй.

Приветствуй все и все благодари,
а зло и боль останутся поодаль,
пока есть в небе крохотка зари,
и есть трава, и есть луна и тополь.

Как род людской криклив и неуклюж —
и как стройны сошественники рая,
неправоту героев и кликуш
своим покоем кротко укоряя.

И пламень их не жарок, не багрян,
а свеж и зелен. Храмами во мраке
они полны звучанья, как орган,
и тайны тайн, как чистый лист бумаги.

В тебе и мне, в Нарциссе и Христе —
одна душа, и больше в тополях нас,
чем в нас самих. Ослепли в суете.
Найдись ручей — я сам в него шарахнусь.

Алчба и страх снедают нашу плоть,
а тополя добры и неподвижны.
Галдят пророки — но молчит Господь
и — внутрь себя — тиха улыбка Вишны.

Элегия о старом диване

А все-таки стенам, пожалуй, когда-нибудь рухнуть.
О век мимолетный, безжалостный и деловой!
Из нового дома выносится старая рухлядь
и в холод бездомья уходит бедняк Домовой.

Смешной старикашка, он так шкандыбает, сутулясь,
и шепчет проклятья и прячет отчаянный взгляд
от страшного мира, где режут беспомощных куриц
и желтые листья в полночные лужи летят.

О старом диване никто и словечка не скажет,
случайно достался и, в общем, совсем не кровать,
он с детством не связан, стараньями предков не нажит,
и вид затрапезен, и не о чем зря горевать.

О как он был жёсток, неласковым жребием выпав,
к нему привыкали, почти что не чувствуя ног,
но чье-то дыханье с его полусонных прогибов
летело по небу на чей-то безумный звонок.

На нем раскрывалась ромашка младенческой позы
и тот полуночник, бывало, подремывал днем.
Он знает все тайны, он помнит молитвы и слезы,
но вот незадача — клопы обнаружились в нем.

И он обречен, а на новом, должно быть, уютней.
Зайдем и заплатим — и время бежать по делам.
Поминок не будет, не слышно органа и лютни,
в шумливом безмолвье уносится старый диван.

А близится осень, и капли щемят дождевые,
и в нежном сиянье бездомная горечь листвы.
Простите, простите, простите меня, домовые,
я тоже — давно уж — собрался в дорогу, как вы.

О, мир этот камен, и милых не губ ведь, не рук ведь,
и ветры смеются над бренной диванной душой.
О грусть Домового! О бедная старая рухлядь,
на коей — о счастье! — разляжется кто-то чужой.

О, мир этот камен, и, правду сказать, не в бреду ль я
с домашней заботой мешаю небесную высь,
и некому плакать, за вычетом Бога и дурня,
о старом диване, в котором клопы завелись.

* * *

«Куда мы? Кем ведомы? И в хартиях — труха.
Сплошные, брат, Содомы с Адамова греха.
Повырублен, повыжжен и, лучшего не ждя,
мир плосок и недвижен, как замыслы вождя.

Он занят делом, делом, а ты, едрена вошь,
один на свете белом безделицей живешь,
а ты под ветхой кожей один противу всех.
А может, он-то — Божий, а не Адамов грех?..»

Я — слышу и не слышу. Я дланями плещу —
а все ж к себе под крышу той дряни не тащу.
Истошными ночами прозрений и разлук
безбожными речами не омрачаю слух.

Вам блазнится — сквозь нехоть в зажмуренной горсти —
куда-нибудь уехать, чтоб что-нибудь спасти.
Но Англия, Москва ли — не все ли вам равно?
Смотрите: все в развале — и все озарено.

Безумные искусства сексэнтээрных лет
щекочут ваши чувства, а мне в них проку нет.
Я ближним посторонний, от дальнего сокрыт,
и мир потусторонний со мною говорит.

Хоть Бог и всемогущий, беспомощен мой Бог.
Я самый неимущий и телом изнемог,
и досыта мне горя досталось на веку,
но, с Господом не споря, полвека повлеку.

Под хаханьки и тосты, под жалобы и чад
мне в душу светят звезды и тополи молчат.
Я самый иудейский меж вами иудей,
мне только бы по-детски молиться за людей.

Один меж погребенных с фонариком Басе,
я плачу, как ребенок, но знающий про все,
клейменный вашим пеклом и душу вам даря.
А глупость верит беглым листам календаря.

Вы скажете: «О Боже, да он — без головы?..»
А я люблю вас больше, чем думаете вы.
Пока с земли не съеду в отдохновенном сне,
я верю только свету и горней тишине.

Да прелесть их струится из Вечности самой
на терпкие страницы, возлюбленные мной.
И я скорблю и горблюсь, и в думах длится ночь.
А глупость верит в глобус. И ей нельзя помочь.

* * *

Я нá землю упал с неведомой звезды,
с приснившейся звезды на каменную землю,
где, сколько б я ни жил, отроду не приемлю
ни тяжести мирской, ни дружбы, ни вражды.

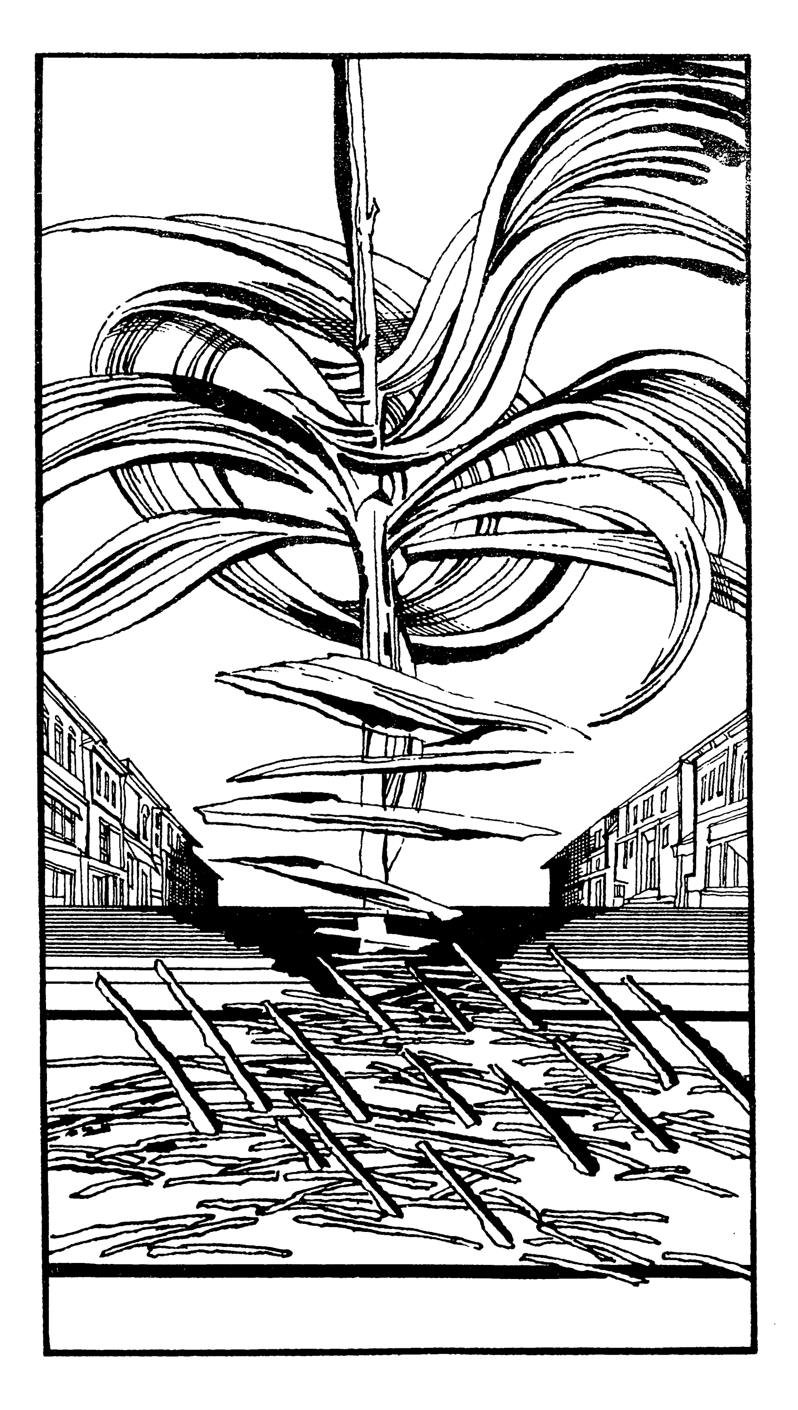
Как с буднями, звезда, нездешним сердцем сжиться,
коль тополи в снегу мне в тыщу раз важней
всех выездов и смут, певичек и вождей,
а Моцарт и Паскаль отзывней сослуживца?

Что делать мне, звезда, проснувшись поутру?
Я с ближними в их рай не мечу наудачу,
с их сласти не смеюсь, с их горечи не плачу
и с ними не игрок в их грустную игру.

Что значу я, звезда, в день моего рожденья,
колодец без воды и дуб без желудей?
Дано ль мне полюбить косматый мир людей,
как с детства я люблю животных и растенья?

И как мне быть, звезда, на каменной земле,
где телу земляка люба своя рубаха,
так просто обойтись без воздуха и Баха
и свету не найтись в бесколокольной мгле?

Как жить мне на земле, ни с чем земным не споря?
Да будут сны мои младенчески чисты
и не предам вовек рождественской звезды,
откуда я упал на землю зла и горя.



9 января 1980 года

И снова зажгутся, коль нам повезет,
на сосенке свечи,
и тихо опустится с тихих высот
рождественский вечер.

И рыжая киска приткнется у ног,
и закусь на блюде,
и снова сойдутся на наш огонек
хорошие люди.

Вот тут бы и вспомнить о вере былой,
о радостях старых,
о буйных тихонях, что этой порой
кемарят на нарах.

Но, тишь возмутив, окаянное дно
я в чаше увижу
и в ночь золотую набычусь хмельно
и друга обижу.

И стану в отчаянье, зюзя из зюзь,
стучать по стаканам
с надменной надеждой: авось откуплюсь
стихом покаянным.

Упершись локтем в ненадежность стола,
в обличье убогом,
провою его, забывая слова,
внушенные Богом.

О, мне бы хоть горстку с души соскрести,
в чем совесть повинна!
Прости мне, Марлена, и Генчик, прости,
и Шмеркина Инна.

Спокойно, друзья, отходите ко сну,
поверьте заздравью,
что завтра я с чистой страницы начну
свою биографью.

Но дайте мне, дайте мне веры в меня
хоть малую каплю...
Вот так я, хмельной, погоняю коня
и так я лукавлю.

А свечи святые давно сожжены
под серою сенью,
и в сердце волнуемом нет тишины,
и нет мне прощенья.

Не мне, о, не мне говорить вам про честь:
в родимых ламанчах
я самый бессовестный что ни на есть
трепач и обманщик.

Пока я вслепую болтаю и пью,
игруч и отыгрист,
в душе моей спорят за душу мою
Христос и Антихрист.

Признание

Генриху

Зима шуршит снежком по золотым аллейкам,
надежно хороня земную черноту,
и по тому снежку идет Шолом Алейхем
с усмешечкой в очках, с оскоминкой во рту.

В провидческой тоске, сорочьих сборищ мимо,
в последний раз идет по родине своей,—
а мне на той земле до мук необъяснимо,
откуда я пришел, зачем живу на ней.

Смущаясь и таясь, как будто я обманщик,
у холода и тьмы о солнышке молю,
и все мне снится сон, что я еврейский мальчик,
и в этом русском сне я прожил жизнь мою.

Мосты мои висят беспомощны и шатки,—
уйти бы от греха, забыться бы на миг!..
Отрушиваю снег с невыносимой шапки
и попадаю в круг друзей глухонемых.

В душе моей поют сиротские соборы,
и белый снег метет меж сосен и берез,
но те, кого люблю, на приговоры скоры
и грозный суд вершат не в шутку, а всерьез.

О, нам хотя б на грош смиренья и печали,
безгневной тишины, безревностной любви!
Мы смыслом изошли, мы духом обнищали,
и жизнь у нас на лжи, а храмы на крови.

Мы рушим на века — и лишь на годы строим,
мы давимся в гробах, а Божий мир широк.
Игра не стоит свеч, и грустно быть героем,
ни Богу, ни себе не в радость и не впрок.

А я один из тех, кто ведает и мямлит
и напрягает слух пред мировым концом.
Пока я вижу сны, еще я добрый Гамлет,
но шпагу обнажу — и стану мертвецом.

Я на ветру продрог, я в оттепели вымок,
заплутавшись в лесу, почуявши дымок,
в кругу моих друзей, меж близких и любимых,
о как я одинок! О как я одинок!

За прожитую жизнь у всех прошу прощенья,
и улыбаюсь всем, и плачу обо всех,—
но как боится стих небратского прочтенья,
как страшен для него ошибочный успех...

Уйдет вода из рек, и птиц не станет певчих,
и окаянной тьмой затмится белый свет.
Но попусту звенит дурацкий мой бубенчик
о нищете мирской, о суете сует.

Уйдет вода из рек, и льды вернутся снова,
и станет плотью тень, и оборвется нить.
О как нас Бог зовет! А мы не слышим зова.
И в мире ничего нельзя переменить.

Когда за мной придут, мы снова будем квиты.
Ведь на земле никто ни в чем не виноват.
А все ж мы все на ней одной виной повиты
и всем нам суждена одна дорога в ад.

Генриху

У всех твоих друзей глаза на мокром месте,
во мне ж ликует дух, восторгом обуян:
в безрыцарственный век ты страж добра и чести,
там горю места нет, где дышит Алтунян.

Подмога бедняку, за слабого заступник,
весельем добрых дел питающий молву,—
в глаза твои взгляну и вещих снов звезду в них,
от счастия смеясь, увижу наяву.

Душе не верит плоть. Москва слезам не верит.
Какой ты деловой, как ты в заботах рьян.
Но горю места нет, где дух Господний веет.
Да, места горю нет, где дышит Алтунян.

Посеявшего свет да не заботит жатва.
О ветер Воркуты, в глаза мои не вей!
И все ж сегодня я грущу о том, что завтра
я буду без тебя в Армении твоей.

Как знать, твоя беда грядущим озарится ль?
Пред подвигом души все знания — пустяк.
В безрыцарственный век воистину ты рыцарь,
чья доблесть и любовь у мира на устах.

А терния, а крест,— ну что ж, коль вышла карма?
Хоть горек наш удел, блаженны наши сны.
Над илом темных лет светло и музыкально
струится и журчит теченье тишины.

В наплывшую струю свои печали сбрось ты,
почувствуй и услышь, как ты не одинок.
К нам сходят по ночам рождественские звезды,
и Вечность нам плетет лазоревый венок.

И пусть твой добрый смех от наших глаз упрятан,
от смеха твоего со света спал туман.
Нет лучшего добра, чем быть герою братом,
и горю места нет, где дышит Алтунян.

9 января 1983 года

(Когда мне стукнуло шестьдесят)

Пришли, пришли пропойцы-кемари,
не отчурались, черти недосыпа!
На грядках дней пропольщики мои,
какое вам небесное спасибо!

Кто как сумел у чарочки присел,—
пои вас Бог, друзья-жизнепродувцы!
Пока далек положенный предел,
лета летят, а ниточки прядутся.

Спасибо всем, кто в этот час со мной,
кого я смог, кого не смог собрать я!
Ох, как я полон жизнию земной,—
в ней нет чужих, все — сестры лишь да братья.

Чем тоньше нить, тем тише и светлей
в душе моей, и вся она — любовь к вам.
Ишь, летом вишен падает с ветвей,
а места нет счетам и недомолвкам.

Спасибо, жизнь, за то, что прожита,
за этот свет, что вы зовете «старость»!
Смотрю в себя: где горечь, где вражда?
И следу нет. Одна любовь осталась.

Ишь, воробьишки прыгают у ног,—
на свете роль нисколько не мала их.
Моя ж душа — воробышек и Бог,
и дуб в лесу, и Будда в Гималаях.

Мне в жизни сей хватало на харчи,
а по лихве печалиться не стану.
Простите все, кого я огорчил,
с кем в ссоре был, кого обидел спьяну.

Простите все, кого я не узнал,—
не из гордыни или басурманства.
Моя ж родня наполовину с нар,
да я и сам оттолева сорвался.

Окажем честь зеленому вину,
его еще останется на случай.
Прости мой долг, прости мою вину,
мой лучший брат за проволкой колючей.

За тыщу верст — пустили бы — пешком
прибрел к тебе копытами босыми.
Прости меня, барашек с петушком,
чью кровь опять прольют в Эчмиадзине.

Простите все. Мне высь моя к лицу.
С нее теперь ни на вершок не сниду.
Какое счастье — к отчему крыльцу
нести в себе вину, а не обиду.

Спасибо всем, случайным, как и я.
Я вас люблю светло и покаянно.
Как хорошо вернуться в океан
искавшей смысла капле океана.

Я высший дар несу не расплескав,
хоть и кажусь иному дурачиной.
Мне и теперь любая боль близка,
но все небесней свет неомрачимый.

Когда душа совсем уйдет от вас,
любовью к вам полна и осиянна,
мой грешный прах оплачет Комитас
в стране камней у синего Севана.

Псалом Армении

Ну что тебе Грузия? Хмель да кураж,
приманка для бардов опальных
да весь в кожуре апельсиновой пляж
с луной в обезьяновых пальмах.

Я мог бы, пожалуй, довериться здесь
плетучим абхазским повозкам,—
но жирность природы, но жителей спесь...
А ну их к монахам афонским!..

А сбоку Армения — Божья любовь,
в горах сораспятая с Богом,
где боль Его плещет в травинке любой,
где м а л о е помнит о м н о г о м.

Судьбой моей правит не тост тамады —
обитель трудов неустанных
контрастом тем пальмам,— а рос там один
колючий пустынный кустарник.

И камень валялся, и пламень сиял,—
и Ноем в кизиловом зное,
ни разу не видев, я сразу узнал
обещанное и родное.

О, где бы я ни был, душа моя там,
в краю потаенном и грозном,
где, брат непригретый, бродил Мандельштам
и душу вынашивал Гроссман.

Там плоть и материя щедро царят,
там женственность не деревянна,
там беловенечный плывет Арарат
близ алчущих глаз Еревана.

Там можно обжечься о розовый туф
и, как по делам ни спеши мы,
на место ожога минуту подув,
часами смотреть на вершины.

Там брата Севана светла синева,
где вера свой парус расправит,—
а что за слова! Не Саят ли Нова
влюбленность и праведность славит?

Там в гору, все в гору мой путь не тяжел,—
причастием к вечности полнясь,
не брезгуя бытом, на пиршестве сел
библейская пишется повесть.

Там жизнь мировая согласна с мирской,
и дальнее плачет о близком,
и радости праздник пронизан тоской
и жертвенной кровью обрызган.

Там я, удостоенный вести благой,
там я, просветленный и тихий,
узнал, что такое добро и покой
у желтых костров облепихи...

Не быть мне от времени навеселе,
и родина мне не защита,—
я верен по гроб камнегрудой земле
орешника и геноцида.

И сладостен сердцу отказ от правот,
и дух, что горел и метался,
в любви и раскаянье к небу плывет
с певучей мольбой Комитаса...

Что жизнь наша, брат? Туесок для сует —
и не было б доли унылей,—
но вышней трагедии правда и свет
ее как ребенка омыли.

Второй псалом Армении

Армения,— руша камения с гор
знамением скорбных начал,—
прости мне, что я о тебе до сих пор
еще ничего не сказал.

Армения, горе твое от ума,
ты — боли еврейской двойник,—
я сдуну с тебя облака и туман,
я пил из фонтанов твоих.

Ты храмы рубила в горах без дорог
и, радуясь вышним дарам,
соседям лихим не в укор, а в урок
воздвигла Матенадаран.

Я был на Севане, я видел Гарни,
я ставил в Гегарде свечу,—
Армения, Бог твою душу храни,
я быть твоим сыном хочу.

Я в жизни и в муке твой путь повторю,—
и так ли вина уж тяжка,
что я не привел к твоему алтарю
ни агнушка, ни петушка?

Мужайся, мой разум, и, дух, уносись
туда, где, в сиянье таим,
как будто из света отлитый Масис
царит перед взором моим!

Но как я скажу про возлюбленный ад,
начала свяжу и концы?
Раскроется ль в каменном звоне цикад
молитвенник Нарекаци?

До речи ли тут, о веков череда?
Ты кровью небес не дразни,
но дай мне заплакать, чтоб мир зарыдал
о мраке турецкой резни.

Меж воронов черных я счастлив, что бел,
что мучусь юдолью земной,
что лучшее слово мое о тебе
еще остается за мной.

Третий псалом Армении

У самого неба, в краю, чей окраинный свет
любовь мою к миру священно венчает и множит,
есть памятник горю — и странный его силуэт
раздумье сулит и нигде повториться не может.

Подъем к нему долог, как приготовленье души,
им шествуют тени, что были безвинно убиты,
в их тихой молитве умолкли ума мятежи
и чувством вины уничтожено чувство обиды.

Не в праздничном блеске и не в суете площадной
является взорам, забывшим про казни да войны,
тот памятник людям, убитым за то лишь одно,
что были армяне,— и этого было довольно.

Из братских молчаний и в скорби склоненных камней,
из огнища веры и реквиема Комитаса
он сложен народом, в ком сердце рассудка умней,
чьи тонкие свечи в обугленном храме дымятся.

Есть памятник горю в излюбленной Богом стране,
где зреют гранаты и кроткие овцы пасутся,—
он дорог народу и тем он дороже втройне,
что многих святынь не дано ни узреть, ни коснуться.

Во славу гордыне я сроду стихов не писал,
для вещего слова мучений своих маловато,—
но седрце-то знает о том, как горька небесам
земная разлука Армении и Арарата.

О век мой подсудный, в лицо мое кровью плесни!
Зернистая тяжесть нагнулась под злом стародавним,
и плачет над жертвами той беззабвенной резни
поющее пламя, колеблемое состраданьем.

Какая судьба, что не здесь я родился! А то б
и мне в этот час, ослепленному вестью печальной,
как древнему Ною, почудился новый потоп
и белые чайки над высью ковчегопричальной.

Четвертый псалом

Я всем гонимым брат,
в душе моей нирвана,
когда на Арарат
смотрю из Еревана,

когда из глубока
верблюжьим караваном
святые облака
плывут над Ереваном,

и, бренное тесня
трагедией исхода,
мой мозг сечет резня
пятнадцатого года,

а добрый ишачок,
такой родноволосый,
прильнув ко мне, со щек
облизывает слезы...

О рвение любви,
я вечный твой ребенок,—
Армения, плыви
в глазах моих влюбленных!

Устав от маеты,
в куточек закопайся,—
отверженная ты
сиротка Закавказья.

Но хоть судьба бродяг
не перестала влечь нас,
нигде на свете так
не чувствуется Вечность.

Рождая в мире тишь,
неслыханную сердцем,
ты воздухом летишь
к своим единоверцам.

Как будто бы с луны,
очам даруя чары,
где в мире не славны
армянские хачкары?..

Я врат не отопру
ни умыслу, ни силе:
твои меня добру
ущелия учили.

Листая твой словарь
взволнованно и рьяно,
я в жизни не сорвал
плода в садах Сарьяна.

Блаженному служа
и в каменное канув,
живительно свежа
вода твоих фонтанов.

О, я б не объяснил,
прибегнув к многословью,
как хочется весь мир
обнять твоей любовью!..

Когда ж друзей семья
зовет приезжих в гости,
нет более, чем я,
свободного от злости.

Товарищ Степанян!
Не связанный обетом,
я нынче буду пьян —
и не тужу об этом.

Я не закоренел
в серьезности медвежьей
и пью за Карине,
не будучи невежей.

А на обед очаг
уже готовит праздник,
и Наапет Кучак
стихами сердце дразнит.

9 января 1984 года

Изверясь в разуме и в быте,
осмеян дельными людьми,
я выстроил себе обитель
из созерцанья и любви.

И в ней предела нет исканьям,
но как светло и высоко!
Ее крепит армянский камень,
а стены — Пущино с Окой.

Не где-нибудь, а здесь вот, здесь вот,
порою сам того стыдясь,
никак не выберусь из детства,
не постарею отродясь.

Лечу в зеленые заречья,
где о веселье пели сны,
где так черны все наши речи
перед безмолвьем белизны.

Стою, как чарка, на пороге,
и вечность — пролеском у ног.
Друг, обопрись на эти строки,
не смертен будь, не одинок!..

Гремят погибельные годы,
ветшает судебная нить...
Моей спасительной свободы
никто не хочет разделить.

На годовщину смерти Л. Темина

Леня Темин не помню забыл
у загробья не стану лукавить
а когда-то как брата любил
и стихи знал когда-то на память

а теперь чего нет того нет
все пропало в тумане и дыме
а что души бывают родными
можно ль верить на старости лет

киевлянин полез в москвичи
черт понес тебя в чертов Тбилиси
а твои стихотворные выси
где они поищи посвищи

как ты ерзал меж светом и тьмой
вечно болен повсюду бездомен
сноб и баловень Ленечка Темин
как надменничал боже ты мой.

Так меж приступов пьянок сует
человечески грешен ли слаб ли
жил да был настоящий поэт
на меня не похожий ни капли

не завидую и не сужу
и в нечаянный день поминанья
хоть и выдадут чару вина мне
ничего о тебе не скажу

вот и мой скоро кончится путь
и ни скорби о том ни печали
пусть за нас с тобой хлопнут по чаре
в некий час кто-нибудь с кем-нибудь

Московская ода

Ах, Москва ты Москва — золота голова!
Я, расколов твоих темноту раскумекав,
по погубленным храмам твоим горевал
вместе с тысячью прочих жидов и чучмеков.

Мои ночи в сиянье твоих вечеров,
и московский снежок холодит мои веки,
искаженный твой облик целую в чело,
в твое красное с белым влюбляюсь навеки.

Мне святыни твои — как больному бальзам,
но согласья духовного нет между нами,—
поделом тебе срам, что не веришь слезам
и пророков своих побиваешь камнями.

Ты, со злой татарвой не боясь кумовства,
только силой сильна да могуча минутой,
русской вольности веси, ворюга Москва,
прибирала к рукам с Калитой да с Малютой.

Ты на празднества лжи созывала детей,
оглашая полсвета малиновым звоном,
но в пределах твоих, но по воле твоей
с целым миром досель непривычно родство нам.

Отлетевший твой дух долго жить приказал,
да не хочется жить, как посмотришь на лица,—
у Василья Блаженного нет прихожан,
а в церкви на крови и негоже молиться...

Не один изувеченной вечности клад
ты хранишь, зажигая огни городские,
но тебе все равно, что твой брат Ленинград
быть давно перестал тем, чем был у России.

Ты, родне деревенской в куске отказав,
шлешь проклятья и кары взывающим музам,

и тебе все равно, что Рязань и Казань
спозаранку твоим обжираемы пузом...

Свои лучшие думы я выстрадал здесь,
здесь я дружбу обрел, сочинитель элегий,
но противна душе чернорусская спесь
и не терпит душа никаких привилегий.

Я полжизни отдам за московские дни,
хоть вовек не сочту, сколько было их кряду,—
но у красной стены чутко спят кистени
и скучают во сне по Охотному ряду.

Стыдно в ступе толочь мутны воды пестом,
стыдно новой порой да за старую песню ж,—
образумься, родная, трудом да постом,
и, пока не покаешься, да не воскреснешь.

Непрощание с Батуми

Ну и гугняв же местный бес —
запустит дождик суток на шесть,
чтоб люди чувствовали тяжесть
непросыхаемых небес.

А мне он зла не причинял,
а я хлопот его не стою,
а мне бы стакнуться душою
с душой магнолий и чинар.

В недоуменье дух и плоть,
не разберу никак по думе,—
какой ты нации, Батуми,
и что напрял в тебе Господь.

Как ракушка — волной в ушах,
как дева — в лучевидной кроне,
о тыща и одном балконе,
о двух ажурных этажах.

И не во сне, а наяву,
пестры под непогодью прыткой,
по-детски выложены плиткой
проспекты прямо в синеву.

Дано ль прочесть простым умам
узоры страхов и бесстраший,
под звонко-розовою пряжей
прибрежья зелень и туман?

Вдруг кто-то в чащу шах-шарах!
А кто? Увидеть бы, узнать бы,
но немо щурятся усадьбы
из тьмы в оранжевых шарах...

Века с недвижностью в очах
реальней здесь, чем день текущий,
и я гощу с кофейной гущей
у сна в бамбуковых дворцах.

У сердца нет иных забот,
чем жить, от волн морских святея,
где медным голосом Медея
отмщенье божие зовет.

Потопным топотом дождя
тщета веков, как пыль, прибита,
и эвкалипты Еврипида
стоят, до краешка дойдя...

Феодосия

В радостном небе разлуки зарю
дымкой печали увлажню:
гриновским взором прощально смотрю
на генуэзскую башню.

О как пахнуло веселою тьмой
из мушкетерского шкафа,—
рыцарь чумазый под белой чалмой —
факельноокая Кафа!

Желтая кожа нагретых камней,
жаркий и пыльный кустарник,—
что-то же есть маскарадное в ней,
в улицах этих и зданьях.

Тешит дыханье, холмами зажат,
город забавный, как Пэпи,
а за холмами как птицы лежат
пестроцветущие степи.

Алым в зеленое вкапался мак,
черные зернышки сея.
Море синеет и пенится, как
во времена Одиссея.

Чем сгоряча растранжиривать прыть
по винопийным киоскам,
лучше о Вечности поговорить
со стариком Айвазовским.

Чьи не ходили сюда корабли,
но, удалы и проворны,
сколько богатств под собой погребли
сурожскоморские волны!

Ласковой сказке поверив скорей,
чем историческим сплетням,
тем и дышу я, платан без корней,
в городе тысячелетнем.

И не нарадуюсь детским мечтам,
что, по-смешному заметен,
Осип Эмильевич Мандельштам
рыскал по улочкам этим.

Розы и соловьи

Восточный Крым — страна цветущих роз,
что из полынно-выжженного лона
взошли с трудом и дышат утомленно
и славят тайну хором и вразброс.

Услада уст страдающей земли,
ее грехов отпетых отпущенье,—
когда в глухом и гулком запустенье —
какое чудо! — розы расцвели.

О сколько их, смиренных как заря,
задорно-алых, кремовых и белых,
сошло с холмов и ринулось на берег,
приютный мир за жизнь благодаря.

Сиянье роз — небесная капель,
отрадой глаз обрызгавшая землю.
Я их дыханью, вслушиваясь, внемлю,
а им полны Судак и Коктебель.

О свитки чар из света и тепла,
томящих снов бесхитростный талмудик,—
о только б раз коснуться и вдохнуть их,—
и не горька сума и кабала!

Пред ними стыдно жизни прожитой:
нам говорят безмолвные пророки
о том, что минут царствия и сроки
и мир спасется вечной красотой...

В июньской тьме, шалея от любви
к искусству пенья и впадая в ересь,
тех роз воздушно-чувственную прелесть
запойно славят птицы — соловьи.

Хоть я, признаться, в звуках соловьев
не слышу песни: как ты там ни пенься,
свисти, бульбулькай, щелкай — все — не песня,
коли в ней нет мелодии и слов.

Что наши судьбы, жесты, письмена,
все взмывы духа в рифмах и аккордах
пред светом роз, невинных и негордых,
чья красота учтива и смирна?

У тех тихонь венец земной тяжел:
из них жмут масло, делают варенье,—
а я сложил о них стихотворенье,
и эта блажь — не худшее из зол.

Дельфинья элегия

Как будто бы во сне повинном,
что не со всяким может статься,
я чувствую себя дельфином
на карадагской биостанции.

Зачем я дался людям глупым
и почему, хоть в скалах выбей,
мы то всего сильнее любим,
что нам приносит боль и гибель?

В бассейне замкнутом и душном,
где развернуться сердцу негде,
что в теле мне моем недужном
и в обреченном интеллекте?

Я разлучен с родимой бездной,
мне все враждебно и непрочно,
и надо мной не свод небесный,
а потолок цементно-блочный.

С тремя страдальцами другими,
утратив братьев и подругу,
плыву и прыгаю за ними
по кругу, Господи, по кругу!

Нас держат с котиками вместе,
и так расчетливо и дико
на мне сбывается возмездье
за поведенье Моби Дика.

Во славу трубящей науки,
что дуракам сулит бессмертье,
сношу бессмысленные муки
и не прошу о милосердье.

Спасибо, брат старшой, спасибо,
дитя корысти и коррупций,—
твоя мороженая рыба
не лезет в горло вольнолюбцу.

И вот — в пяти шагах от моря,
от неба синего, от рая
я с неразумия и с горя
никак не сдохну, умирая.

* * *

Ежевечерне я в своей молитве
вверяю Богу душу и не знаю,
проснусь с утра или ее на лифте
опустят в ад или поднимут к раю.

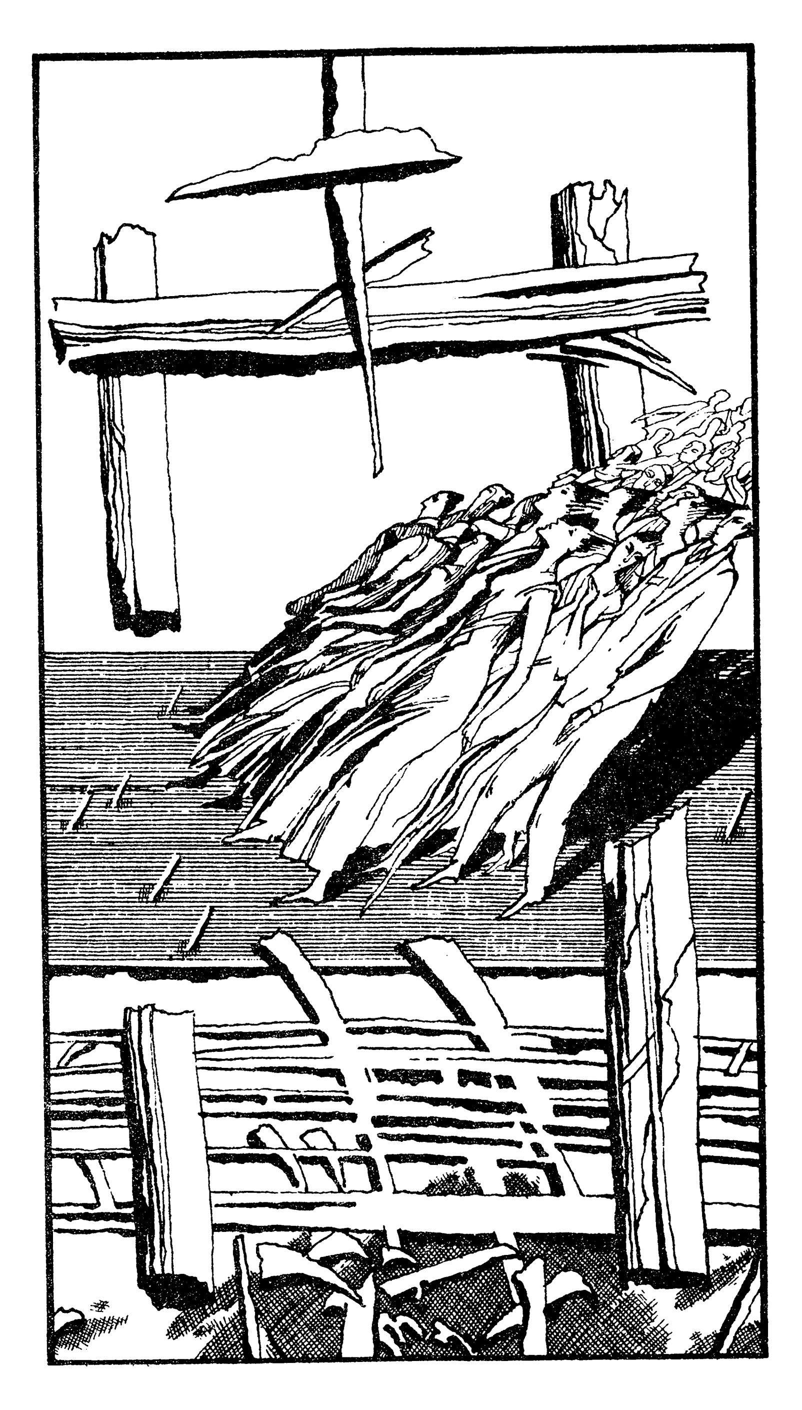
Последнее совсем невероятно:
я весь из фраз и верю больше фразам,
чем бытию, мои грехи и пятна
видны и невооруженным глазом.

Я все приму, на солнышке оттаяв,
нет ни одной обиды незабытой,—
но судный час, о чем смолчал Бердяев,
встречать с виной страшнее, чем с обидой.

Как больно стать навеки виноватым,
неискупимо и невозмещенно,
перед сестрою или перед братом,—
к ним не дойдет и стон из бездны черной.

И все ж клянусь, что вся отвага Данта
в часы тоски, прильнувшей к изголовью,
не так надежна и не благодатна,
как свет вины, усиленный любовью.

Все вглубь и ввысь! А не дойду до цели —
на то и жизнь, на то и воля Божья.
Мне это все открылось в Коктебеле
под шорох волн у черного подножья.



Коктебельская ода

Никогда я Богу не молился
так легко, так полно, как теперь...
Добрый день, Аленушка-Алиса,
прилетай за чудом в Коктебель.

Видишь? — я, от радости заплакав,
запрокинул голову — и вот
Киммерия, алая от маков,
в бесконечность синюю плывет.

Вся плывет в непобедимом свете,
в негасимом полдне,— и на ней,
как не знают ангелы и дети,
я не помню горестей и дней.

Дал Господь согнать с души отечность,
в час любви подняться над судьбой
и не спутать ласковую Вечность
со свирепой вольностью степной...

Как мелась волошинская грива!
Как он мной по-новому любим
меж холмов заветного залива,
что недаром назван Голубым.

Все мы здесь — кто мучились, кто пели
за глоток воды и хлеба шмат.
Боже мой, как тихо в Коктебеле,—
только волны нежные шумят.

Всем дитя и никому не прадед,
с малой травкой весело слиян,
здесь по-детски властвует и правит
царь блаженных Максимилиан.

Образ Божий, творческий и добрый,
в серой блузе, с рыжей бородой,
каждый день он с посохом и торбой
карадагской шествует грядой...

Ах, как дышит море в час вечерний,
и душа лишь вечным дорожит,—
государству, времени и черни
ничего в ней не принадлежит.

И не славен я, и не усерден,
не упорствую, и не мечусь,
и, что я воистину бессмертен,
знаю всеми органами чувств.

Это точно, это несомненно,
это просто выношено в срок,
как выносит водоросли пена
на шипучий в терниях песок.

До святого головокруженья
нас порой доводят эти сны,—
Боже мой Любви и Воскрешенья,
Боже Света, Боже Тишины!

Как Тебя люблю я в Коктебеле,
как легко дышать моей любви,—
Боже мой, таимый с колыбели,
на земле покинутый людьми!

Но земля кончается у моря,
и на ней, ликуя и любя,
глуби вод и выси неба вторя,
бесконечно верую в Тебя.

Воспоминание

Ты помнишь ли, мой ангел строгий,
в кого я двадцать лет влюблен,
какой возвышенной дорогой
мы шли на мыс Хамелеон?

Как мы карабкались по кручам,
то снизу вверх, то сверху вниз,
в краю пустынном и горючем,
на этот самый чертов мыс,

как в тихой бухте при заливе
мы отдыхали в добрый час,
меж тем как тучи грозовые
ползли прямехонько на нас,

как шли назад путем хорошим,
еще сухие до поры,
робея, что поэт Волошин
нас видит со своей горы,

как напрягалась туча злая
и капли падали уже,
пытаясь выжить нас из рая,
где столько радости душе,

а мы в качающемся дыме
под надвигающейся тьмой
между овсами золотыми
бежали весело домой,

как в темных молний пересверке
под шум дождя и моря шум
мы прятались с тобой в пещерке,
где поместиться только двум,

и под разверзшеюся твердью
нас тихо полнила любовь
друг к другу, к миру и к бессмертью
в сокрытой выси голубой.

Куда ушли, куда поделись,
ярмо вседневности неся,
тот день, тот путь, тот мир в дожде весь,
каких нам век забыть нельзя?

Да не осилит сила вражья
и да откликнемся на зов
свободы, радости, бесстрашья
меж золотящихся овсов!

* * *

Не каюсь в том, о нет, что мне казалась бренней
плоть — духа, жизнь — мечты, и верю, что, звеня
распевшейся строкой, хоть пять стихотворений
в летах переживут истлевшего меня.

Искусство поэзии

А. Вернику

Во имя доброты — и больше ни во чье,
во имя добрых тайн и царственного лада,—
а больше ничего Поэзии не надо,
а впрочем, пусть о том печется дурачье.

У прозы есть предел. Не глух я и не слеп
и чту ее раскат и заревую залежь,
но лишь одной Душе — Поэзия одна лишь
и лишь ее дары — всего насущный хлеб.

Дерзаешь ли целить гражданственный недуг,
поешь ли хрупких зорь престольные капризы
в текучем храме рек,— все это только ризы,
и горе, если в них не веет горний дух.

Как выбрать мед тоски из сатанинских сот
и ярость правоты из кротости Сократа,
разговорить звезду и на ладошку брата
свести ее озноб с михайловских высот?

Когда, и для чего, и кем в нас заронен
дух внемлющей любви, дух стройности певучей?
Вся Африка — лишь сад возвышенных созвучий,
где рук не сводят с арф Давид и Соломон.

Прислушайся ж, мой брат, к сокрытой глубине,
пойми ее напев и облеки в глаголы.
Есть в мире мастера, течения и школы,
и все ж в них меньше чар, чем в хлебе и вине.

На ветрище времен обтреплется наряд,
и, если суть бедна, куда мы срам свой денем?
Не жалуйся на жизнь. Вся боль ее и темень —
ничто в сравненье с тем, что музы нам дарят.

Когда ж из бездны зол взойдет твой званый час
из скудости и лжи, негадан и неведом,
да возлетит твой стих, светясь глубинным светом,
и не прельстится ум соблазном выкрутас.

Прозаик волен жить меж страхов и сует,
кумекать о добре и в рот смотреть кумиру,—
а нам любовь и гнев настраивают лиру.
Всяк день казним Исус. И брат ему — Поэт.

Лишь избранных кресту Поэзия поит.
Так скорби не унизь до стона попрошаек
и, если мнишь, что ты беднее, чем прозаик,
отважься перечесть Тарасов З А П О В І Т.

Сияние снегов

Какой зимой завершена
обида темных лет!
Какая в мире тишина!
Какой на свете свет!

Сон мира сладок и глубок,
с лицом, склоненным в снег,
и тот, кто в мире одинок,
в сей миг блаженней всех.

О, стыдно в эти дни роптать,
отчаиваться, клясть,
когда почиет благодать
на чаявших упасть!

В морозной сини белый дым,
деревья и дома,—
благословением святым
прощает нас зима.

За все зловещие века,
за всю беду и грусть
младенческие облака
сошли с небес на Русь.

В них радость — терния купать
рождественской звезде.
И я люблю ее опять,
как в детстве и в беде.

Земля простила всех иуд,
и пир любви не скуп,
и в небе ангелы поют,
не разжимая губ.

Их свечи блестками парят,
и я мою зажгу,
чтоб бедный Галич был бы рад
упавшему снежку.

О, сколько в мире мертвецов,
а снег живее нас.
А все ж и нам, в конце концов,
пробьет последний час.

Молюсь небесности земной
за то, что так щедра,
а кто помолится со мной,
те — брат мне и сестра.

И в жизни не было разлук,
и в мире смерти нет,
и серебреет в слове звук,
преображенный в свет.

Приснись вам, люди, снег во сне,
а я вам жизнь отдам —
глубинной вашей белизне,
сияющим снегам.

Толстой и стихи

Не отвечал я вам на первое письмо, потому что ваши рассуждения о Бальмонте и вообще о стихах мне чужды и не только не интересны, но и неприятны. Я вообще считаю, что слово, служащее выражением мысли, истины, проявления духа, есть такое важное дело, что примешивать к нему соображения о размере, ритме и рифме и жертвовать для них ясностью и простотой есть кощунство и такой же неразумный поступок, каким был бы поступок пахаря, который, идя за плугом, выделывал бы танцевальные па, нарушая этим прямоту и правильность борозды. Стихотворство есть, на мой взгляд, даже когда оно хорошее, очень глупое суеверие. Когда же оно еще и плохое и бессодержательное, как у теперешних стихотворцев,— самое праздное, бесполезное и смешное занятие. Не советую заниматься этим именно вам, потому что по письмам вашим вижу, что вы можете глубоко мыслить и ясно выражать свои мысли.

Лев Толстой. Из письма 14.I.1908 г.

Умер мой дядя (муж сестры моей матери) А. М. Жемчужников... Он был поэт. Л. Н. не признавал в нем никакого поэтического дара и даже самого примитивного понимания поэзии. Он считал, что все, что пишет Жемчужников, это зарифмованная, скучная и никому не нужная проза. Но я думаю, что Л. Н. тут, как с ним часто бывает, слишком строг и требователен. Л. Н. признает всего пять поэтов — Пушкина, Лермонтова, Баратынского (за его «Смерть»), Фета и Тютчева.

М. С. Сухотин.
Запись в дневнике 11.III. 1908 г.

Ну а кого ему еще
любить прикажете?..
Саднит у пахаря плечо
на Божьей пажити.

Балует солнце в бороде,
щекотку делая.
Идет по черной борозде
лошадка белая...

С потопом схож двадцатый век:
рулим на камешек.
А он пустил бы в свой ковчег
моих неканувших?

Сгодился б Осип Мандельштам
для «Круга чтения»?
Ведь вот кого он выбрал сам.
Мое почтение!..

Идет на мир девятый вал.
Мертво писательство.
Не зря стихов не признавал
его сиятельство.

А я родился сиротой
и мучусь родиной.
Тому ли спорить с Бородой,
кто сам юродивый?

Гордыне лет земных чужой
с их злом и ложию,
тоскую темною душой
по Царству Божию.

Лущу зерно из шелухи,
влюбляюсь, верую.
Да мерит брат мои стихи
толстовской мерою.

* * *

Сколько вы меня терпели!..
Я ж не зря поэтом прозван,
как мальчишка Гекельберри,
никогда не ставший взрослым.

Дар, что был нежданн, непрошен,
у меня в крови сиял он.
Как родился, так и прожил —
дураком-провинциалом.

Не командовать, не драться,
не учить, помилуй Боже,—
водку дул за-ради братства,
книгам радовался больше.

Детство в людях не хранится,
обстоятельства сильней нас,—
кто подался в заграницы,
кто в работу, кто в семейность.

Я ж гонялся не за этим,
я и жил, как будто не был,
одержим и незаметен,
между родиной и небом.

Убежденный, что в отчизне
все напасти от нее же,
я, наверно, в этой жизни
лишь на смерть души не ёжил.

Кем-то проклят, всеми руган,
скрючен, согнут и потаскан,
доживаю с кротким другом
в одиночестве бунтарском.

Сотня строчек обветшалых —
разве дело, разве радость?
Бог назначил, я вещал их,—
дальше сами разбирайтесь.

Не о том, что за стеною,
я писал, от горя горбясь,
и горел передо мною
обреченный Лилин образ...

Вас, избравших мерой сумрак,
вас, обретших душу в деле,
я люблю вас, неразумных,
но не так, как вы хотели.

В чинном шелесте читален
или так, для разговорца,
глухо имя Чичибабин,
нет такого стихотворца.

Поменяться сердцем не с кем,
приотверзлась преисподня,—
все вы с Блоком, с Достоевским,—
я уйду от вас сегодня.

А когда настанет завтра,
прозвенит ли мое слово
в светлом царстве Александра
Пушкина и Льва Толстого?

Содержание

Борис Алексеевич Чичибабин (Полушин)

КОЛОКОЛ

Редактор А. А. Руденко
Художественный редактор Н. С. Лаврентьев
Технический редактор Г. Д. Калмыкова
Корректор Т. М. Павлюченко

ИБ № 7719
Сдано в набор 30.07.90. Подписано к печати 10.10.90. Формат 84×108[1]/32.
Бумага офс. № 1. Гарнитура «Таймс». Офсетная печать. Усл. печ. л. 14,28.
Уч.-изд. л. 9,95. Тираж 20 000 экз. Заказ № 534. Цена 1 р. 10 к.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва,
ул. Воровского, 11. Тульская типография Государственного комитета СССР
по печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

1 р. 10 коп.